

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ОЛЕГ КОРАБЕЛЬНИКОВ
ПРИКОСНОВЕНИЕ
КРЫЛЬЕВ





БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ОЛЕГ КОРАБЕЛЬНИКОВ

ПРИКОСНОВЕНИЕ КРЫЛЬЕВ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1986

ББК 84Р7—4
К 66

К 4702010200—194 КБ—014—070—86
078(02)—86

© Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.

К ВОСТОКУ ОТ ПОЛНОЧИ

Фантастическая повесть *

*Вечно разветвляясь, время ведет
к неисчислимым вариантам буду-
щего.*

Х. Л. Борхес

ГЛАВА ПЕРВАЯ

К старости отец стал забывать имена вещей.

Их было слишком много, и его слабеющая память уже не могла удерживать бесчисленные сочетания звуков и черных значков, напечатанных на белой бумаге. Вселенная, окружающая его, проваливалась в невидимые «черные дыры». Он смотрел на это безучастно, как посторонний зритель, и лишь иногда капризно искривлял лицо, когда пытался вспомнить имя человека, ведущего его под руку.

— Ты кто?— спрашивал он.

— Юра,— отвечал Оленев.

— Какой Юра?

— Твой сын,— терпеливо пояснял Оленев, ожидая, когда отец сделает следующий шаг.— Единственный. Мы с тобой гуляем, потом пойдем домой, ты поужинаешь и ляжешь спать.

— А ящик?— спрашивал отец после паузы.— Ящик?

— Телевизор,— напоминал Оленев.— Да, сегодня интересный фильм. Времен твоей молодости. Тебе понравится.

Юра невольно разговаривал с отцом как с ребенком, упрощал фразы, протягивал руку и говорил:

— Это небо, папа. Там солнце и облака с тучами. Солнце светит, из туч идет дождь или снег. А вот это земля, на ней растут деревья и травы.

* Повесть печатается с сокращениями.

— А собаки?— вдруг вспоминал отец.

— И собаки растут. И кошки, и мышки, и разные хорошие людишки. Все растут.

— Куда?— спрашивал отец.

— Вверх и в стороны, иногда вниз, под землю.

— Зачем?— не унимался отец.

— Не знаю,—честно признался Оленев.— Наверное, по-другому не умеют.

— И я расту?— спрашивал отец, когда Юра усаживал его на скамейку и заботливо поправлял шарф на худой стариковской шее.

— Похоже, что так. Только в обратную сторону.

— А ты?— не отставал отец, поднимая с земли ку-сочки гравия и бездумно перебирая их.

— Я уже вырос,— вздыхал Юра.— Дальше некуда.

— А вниз, под землю?

В таких случаях Оленеву казалось, что отец только притворяется, а на самом деле все знает, все помнит и лишь подсмеивается над ним, разыгрывает выжившего из ума старика, впавшего в детство. Быть может, так оно и было, просто Оленев разучился удивляться причудам перевернутого мира, в котором жил последние месяцы. Он принимал этот мир как данное и не противился бесконечным метаморфозам и странностям, окружавшим его в быту. Работа оставалась работой, там все было нормальным, логичным и правдоподобным до жестокости. А дома, в кругу семьи, все казалось зыбким, полуреальным, неопределенным, и хоть причина этого была известна, но цели все равно оставались непонятными, а средства достижения их — абсурдными.

То, что происходило с отцом, можно было объяснить простыми причинами, и, будучи врачом, Юра легко находил нужный диагноз, но все же это странное впадение в детство родного ему человека совпало по времени с началом действия Договора. Того самого Договора, который изменил жизнь Оленева, превратив ее в запутанный лабиринт с бесчисленными кривыми зеркалами.

Мать Оленева умерла, когда ему было двенадцать лет, и он смутно помнил ее лицо, голос, прикосновения рук. Юру воспитывал отец, один, без женской помощи, и лишь потом, спустя годы, Оленев понял, как это было нелегко, и поэтому благодарно и терпеливо ухаживал за отцом, выплачивая свой бесконечный долг.

Бесконечные долги росли в геометрической прогрессии, и погашать их Оленев просто не успевал. Долг перед женой, долг перед дочерью, служебный долг врача-реаниматолога, долги перед всеми теми, кто приносил добро Оленеву, но он сам особенно не мучился, если не все удавалось выплатить сполна, потому что знал: рано или поздно придет Большая расплата, оттого и жил, ничему не удивляясь, и только терпеливо ждал, когда же наступит тот самый Час и Миг, когда можно будет свободно вздохнуть и сказать: «Все, Договор исполнен, срок истек, отпусти меня на свободу».

Он приводил отца домой, раздевал, усаживал в мягкое кресло перед телевизором, заботливо расстилал полотенце на коленях и кормил ужином, пока тот, посапывая, пустыми глазами смотрел на кинескоп, на мельканье теней, на игру цвета, вслушиваясь, не слыша, в слова, звучащие с экрана, а в какие потемки уходила его душа в эти минуты, Оленев не знал.

Лишь когда отец засыпал у себя на кровати, мерно дыша и по-ребячьи шевеля губами во сне, Юра знал наверняка — отец возвращается назад, в свою молодость, в детство, ища там потерянное не им, выискивая не найденное еще никем.

Все были Искателями. Жена, дочь, сам Оленев, отец его и даже теща — все они искали то, не зная что, там, не зная где. Таков был Договор, и отступить от него не представлялось возможным.

Вот и в этот день, уложив отца и по привычке обойдя квартиру, Оленев без удивления обнаружил, что она опять изменилась. Вчера было три комнаты, сегодня появилась еще одна, и, открыв красную лакированную

дверь в стене, выходящей на улицу, Оленев увидел, что там на чистой циновке-татами, обложенные разноцветными игрушками, играют дети. Их было двое, мальчику лет пять, а девочке не больше десяти. Оленев оглядел комнату, придвинул стул и, усевшись на него верхом, молча смотрел на детей. Наученный опытом, он никогда не начинал разговора первым с теми, кто появлялся в его доме вот так неожиданно.

Девочка приподняла голову и, хигро сощурившись, посмотрела на Оленева. Тот подмигнул ей и состроил смешную гримасу. Девочка прыснула и толкнула мальчика локтем. Тот оторвался от кубиков и, важно напыжив щеки, обращаясь к Оленеву, сказал:

— Комбанва, софу. (Здравствуй, дедушка.)

— Я, кё ва нани-о ситэ ита но (Привет! Чем ты занимался сегодня?),— отозвался Оленев. Он теперь знал, что мальчик разговаривает на японском.

— Нанииро годзэнтю дзутто яттэта мон дэ нэ. Кутабирэтэ симатта ё (Все утро играл. Из сил выбился.),— с достоинством ответил мальчик и снова взялся за кубики.

— Ну и чьи вы будете?— спросил Оленев по-русски.

— Мы твои, дедушка,— ответила девочка тоже по-русски.— Мама велела посмотреть за нами. Вот ты и смотри. А то мы бедовые!

— А где же мама?— спросил Оленев, разглядывая игрушечный космический корабль.

— Сказала, что скоро придет. А ты нам обещал купить амэкадзо.

— Кавайсони! (Какая жалость!) — вздохнул Оленев.— Но ветер с дождем нельзя купить. Он сам приходит и сам уходит. Он никому не принадлежит.

— А у Витьки есть свой,— сказал внук на чистом русском.— Он его как включит, как задует, как польет! И я хочу такой же.

— Хорошо,— согласился Оленев.— А ты в каком году родилась, внучка?

— В шестом,— ответила девочка,— а он только в десятом.

— Тогда все ясно. Понимаешь ли, в наше время еще не выпускают таких игрушек.

— В наше время возможно все,— поучительно сказала девочка.— И ты не увиливай. Ты же наш дедушка.

— Ага,— сказал Оленев,— конечно, дедушка, одзисан. Но игрушку вам привезет бабушка. Или мама. Ей лучше знать, что вам нужно. Есть не хотите?

— Еще бы!— сказала девочка.— Мама говорила, что ты нам пригостишь тако с овощами.

— И где же я вам найду спрута?— вздохнул Оленев.— Овощи есть, а осьминоги у нас не водятся и в гастроном не завезли. Может, обойдетесь борщом? И как, кстати, зовут вашего папу?

— Ямада,— сказал мальчик, угрюмо посапывая.

— Все ясно. Значит, на этот раз она вышла замуж за японца. И где она его нашла?.. Ладно, внуки, играйте, я что-нибудь придумаю.

Дети были черноволосы и скуласты, только голубые глаза и завитки кудрей у девочки на висках говорили правду: они и есть внуки Оленева. Генетика — штука серьезная, с ней не поспоришь.

На кухне он столкнулся с женой. Она сидела в длинном розовом платье на табуретке, картинно откинув голову и покуривая сигарету с золотистым фильтром. Кухонный стол был завален свертками с разноязычными этикетками, а поверх всего громоздились огромные рога какого-то животного.

— Привет!— сказал Оленев.— Стол-то хоть освободи. Нам внуков кормить надо.

— Опять внуки,— поморщилась жена.— И когда это кончится? Мне всего двадцать пять лет, а у меня то и дело вдруг появляются внуки.

— Двадцать девять,— поправил Оленев.— Мне-то за чем заливать?

— Ну да, а выгляжу на двадцать,— раздраженно

сказала жена и тут же сменила тон:— Ты только посмотри, милый, какой чудесный сувенир я привезла тебе. Это рога замбара, но в Бирме его зовут шап. Не правда ли, они тебе очень пойдут?

— Так ты из Бирмы?— рассеянно спросил Оленев, открывая холодильник.

— Лучше не спрашивай,— махнула рукой жена.— Устала зверски. Восток так утомляет. Жара, духота, коктейли скверные, а мой английский сам знаешь какой. Едва объясняюсь, вот эти торговцы меня и дурят.

— Учи язык. Это несложно.

— Конечно! Для тебя. Ты их штук десять знаешь.

— Сто сорок шесть,— скромно поправил Оленев.— Кстати, у сегодняшних внуков отец — японец.

— И когда она перестанет менять мужей? Все твоё воспитание. С моими данными я могла бы каждый месяц выходить замуж, но ведь я не делаю это! Меня мама не так воспитывала. Передай ей, чтобы она перестала меня позорить. Муж должен быть один... И как она закончила четверть?

— Как обычно. На пятерки. Сейчас такая программа, я едва за ней успеваю.

— Не кокетничай, дорогой,— мурлыкнула жена, как всегда, легко и быстро переменив настроение.— С такой головой люди в академиках ходят, а ты как был задрипанным врачиком, так и остался. Но всё равно я всё рассказываю, что мой муж — самый главный академик.

— Восточным торговцам?

— Завистник! Ты только представь себе: Рангун, солнце, пагоды, бананы... А какие там иностранцы!.. Слушай, академик, приготовь мне ванну, я так устала.

Она погасила сигарету, по-кошачьи потянулась, послала Юрию воздушный поцелуй, сгребла свертки в охапку и вышла из кухни.

— Ага,— машинально буркнул Юрий, примериваясь, куда бы повесить очередные рога.



После каждой поездки жена непременно привозила рога какого-нибудь животного. Особенно богатой была африканская коллекция. Останки антилоп всех видов увешивали стены целой комнаты. Гарна, пала, абок, пассан, бейза, мвули, наконг, гну — это далеко не полный перечень прекрасных, то закрученных прихотливой спиралью, то прямых и острых, как шпаги, рогов.

Дом Оленева походил на кунсткамеру. В шкафах лежали минералы и руды, детские игрушки, чучела птиц, коллекция бабочек и жуков, странные сучки, похожие на зверушек и еще — вещи, вещи, вещи, купленные женой в путешествиях по свету. Всего этого было слишком много, но все это было **не то**. Все еще не то. Пока еще не то, ибо странная жизнь семьи Оленева не прекращалась, не входила ни в какие рамки обычной семейной жизни, а это означало одно — Договор еще не исполнен.

И сам дом изменялся ежедневно, он был живым существом, живущим по своим странным законам. Менялось расположение комнат, их число, вещи то и дело совершали рокировку в длинную сторону; зачастую, проснувшись утром под шелковым балдахином, расшитым лилиями, Оленеву снова хотелось заснуть, чтобы проснуться в своей обычной постели — узкой кровати с панцирной сеткой, застеленной байковым одеялом. Он всегда просыпался один, жена если и возвращалась на день-два, то ночевала в другой комнате, и иногда оттуда доносились чужие голоса и смех. А наутро она опять улетала куда-нибудь на Занзибар, вернее — не улетала, а просто-напросто оказывалась там неизвестно как, и вряд ли она сама знала, куда в следующий раз ей придется уехать. Все это ей нравилось, и она нисколько не противилась чужой воле, принуждающей ее скитаться в пространстве.

Вот и сейчас, неторопливо приготавливая ужин для неожиданных внуков, Оленев не мог быть уверенным до конца, что ужин, возможно, не понадобится, потому что лишняя комната с детьми исчезнет, будто ее и не

было никогда. Ни ребятишек на желтой циновке, ни незнакомых игрушек, ни японских слов. А может, и жена исчезнет в свое вечное никуда, не дождавшись ванны.

Из кухни он услышал голос дочери. Она что-то весело рассказывала детям, те смеялись в ответ, потом смех затих, и только голос, мягкий, ироничный, продолжал что-то говорить в соседней комнате. Оленев поставил на поднос три тарелки с борщом и три с салатом и осторожно приоткрыл дверь дополнительной комнаты.

Детей уже не было, а на циновке, поджав под себя ноги, в белом кимоно и в белых носочках сидела его дочь Валерия, и было ей чуть побольше лет, чем самому Оленеву.

— Коннитива, мусумэ (Здравствуй, дочь),— сказал Оленев, с церемонным поклоном ставя поднос на пол.— Как насчет борщеца?

— Ах, папашка!— рассмеялась дочь таким знакомым и таким неузнаваемым смехом.— Ты все такой же! Как я рада тебя видеть!

Она вскочила и, чуть не опрокинув тарелки, повисла на шее у Оленева.

— Сколько же я не была дома? Лет двадцать, что ли?

— Вчера ты пришла из школы,— спокойно сказал Оленев, с обреченной улыбкой разглядывая морщинки на лице дочери,— сделала уроки, перевернула весь дом, играя в куклы, покапризничала перед сном, рассказала мне очередную сказку и заснула. Как видишь, всего несколько часов.

— Ах, если бы так! Ты знаешь, мне пришлось с ним расстаться. Ямада хороший человек, и ребятишки славные, правда? Я их отправила к отцу; ничего, воспитает... Но все это не то, опять не то, папашка! А сначала все было так чудесно. Я закончила факультет восточных языков, поехала в Японию и там повстречалась с ним. Ну, что смотришь, осуждаешь, да? Ну, влюбилась же, влюбилась, как последняя дуручка. А потом все надое-

ло и так потянуло домой, что ума не приложу, как я не чокнулась. И как всегда, возвращаюсь, а ты все такой же, и все вокруг такое же, так что хочешь не хочешь, придется начинать сначала. Может, другая судьба будет более удачливой, а, как ты думаешь, папашка?

— Никогда не поздно начинать сначала,— сказал Оленев,— особенно тебе. Ладно, поешь, и давай-ка спать. Завтра в школу.

— Опять в четвертый класс?— поморщилась Валерия.— Я же все позабыла.

— Вспомнишь,— усмехнулся Юрий.— И... ты мне опять ничего не расскажешь о будущем? Как там, в двадцать первом веке?

— А!— рассмеялась дочь.— Чуть получше, чуть похуже, главное, что мне опять не удалась личная жизнь.

Она весело хлебала борщ сразу из трех тарелок, нализывала салат на вилку и, стремительно прицелившись, запускала в лицо отцу. Тот незлобиво утирался, пытаясь дотянуться до Валерии, чтобы поставить шелобан, потом поднялся и, не выдержав, вздохнул:

— Жаль, хорошие были ребятишки.

— Угу,— согласилась дочь с полным ртом и подмигнула отцу.

— Я подожду тебя на кухне. Не забудь захватить поднос.

Кухня за время его отсутствия успела перевернуться в четвертом измерении, и теперь все предметы были расположены в зеркальном порядке. Левое стало правым, правое — левым, а в остальном — все по-прежнему. Оленев озабоченно приоткрыл шкафчик с продуктами и сказал в пустоту:

— Ты это брось! С вещами делай что хочешь, а продукты мне не портить. У них же теперь молекулы в другую сторону закручены, они стали несъедобными. Знай меру, ты нас оставил без завтрака.

Ему никто не ответил, но Оленев прекрасно знал, что его слышат.

— Исправь ошибку,— строго сказал он,— или дуй в магазин за нормальной едой. А с этим можешь делать что хочешь.

Под кухонным столом прокатился розовый шарик и исчез за холодильником.

Таша перед собой тяжеленный поднос с грязными тарелками, в кухню вошла дочь.

Но уже не Валерия, а просто Лерка, десятилетняя шалопайка и неугомонная проказница. Школьная форма была по обыкновению помята и перепачкана мелом, и пальцы, конечно же, в чернильных пятнах.

— Фу, насилиу доперла,— сказала она и ухнула поднос на стол.

— Откуда у тебя такие выражения?

— Из школы!— состроила гримасу дочь и высунула язык, украшенный чернильными разводами.

— Ох, доберусь я до твоей школы. Совсем от рук отбилась. Уроки выучила?

— А что их учить? Я и так все знаю. Сегодня учителька долдонила, долдонила о пестиках и тычинках, а я ей как заверну на доске развернутую формулу редупликации ДНК! А она как разозлилась, как давай отца в школу звать!

— Ну вот и схожу завтра, и все выясню, как ты над учителями издеваешься.

— А, недоучки!

— Уф!— выдохнул воздух Оленев.— Сейчас же мыться и спать! И не забудь, что мыло для мытья, зубная паста для зубов, а полотенце для вытирания. Да, кончишь мыться, наполни ванну для мамы. Я совсем забыл. Насыпь хвойного экстракта, она любит.

— Царской водочки налью, мышьячку насыплю!— весело запела дочка, прыгая на одной ножке.

Можно было не сомневаться, что четвертая комната исчезла, и возвращаться туда не имело смысла, поэтому Оленев прошел, не оглядываясь, мимо несуществующей двери и осторожно заглянул в комнату отца. Тот

спал, мерно посапывая, и одеяло поднималось и опускалось в такт его дыханию.

Зеркало в тяжелой бронзовой раме висело рядом с комнатой отца, и Оленев не удержался — заглянул в него мельком.

Там отражалась комната, но не сегодняшняя, а давным-давно исчезнувшая после ремонтов и перестановок. В кресле сидела мама, вязала свитер для Юрия и что-то напевала. Оленев придвинул стул и долго сидел в темноте, глядя, как на киноэкран, в бронзовый проем зеркала. Кусочек прошлого, полузабытый им, цветной и озвученный, жил своей собственной жизнью, заставляя сильнее биться сердце и наполняя печалью о невозвратимом. Мать давно умерла, и только здесь, в зеркале, можно было видеть и слышать ее, но не более. Можно было подойти к зеркалу, погладить его холодное стекло, прижаться всем телом, но все это было равносильно общению с телевизором. Контакт без контакта. Два отдельно живущих мира, прошлое и настоящее...

Зайчик от зеркального рефлектора мелькнул по стене, и Оленев, не раздумывая, тут же задернул поплотнее шторы.

Это начиналось вечернее бдение тещи.

Телескоп ей сделал сам Оленев. Он поразмыслил и решил, что вид звездного неба будет отвлекать тещу от земных дрязг, что величественные картины вечной Вселенной отвратят ее от преходящего и суетного, но толку из этого не вышло. Тещин дом был напротив, и она сразу же настроила хитроумную оптику на окна зятя. В телескопе все казалось перевернутым, поэтому теща наловчилась привязывать себя в переворачивающемся кресле и целые часы проводила вверх ногами у окна, ожидая, когда на фоне зашторенных окон появятся силуэты родственников. Как ни странно, эта неудобная поза совсем не влияла на ее вечно плохое самочувствие.

Теща все время пребывала в состоянии какой-нибудь болезни. До начала Договора болезни были простые

и ясные: радикулит, стенокардия, мигрень и прочее, вполне обычное для ее возраста. Оленев доставал лекарства, устраивал консультации у хороших врачей, но болезни не проходили. После вступления в силу Договора болезни резко переменялись. Теща стала предъявлять такие диагнозы, что Оленев лишь удивленно поднимал брови. Их квартиры связывал телефон, но теща никогда не пользовалась им, сама тоже не приходила за все годы женитьбы Юрия. Она предпочитала писать письма. Написанные крупным детским почерком, они приходили почти ежедневно.

Вот и сегодня, возвращаясь с прогулки, Оленев привычно пошарил в почтовом ящике, вынул письмо и без раздражения прочитал его еще в лифте.

«К великому прискорбию, при обилии сквозняков в это печальное время года, я заболела благоприобретенным синдромом Лоренса — Муна — Бьедла, известным среди вашего брата коновала так же, как адипозогипогенитальный. В последние три дня отмечаю у себя обильное ожирение на лице, груди, животе, к чему быстро присоединилось психическое запаздывание, так, коэффициент умственного развития у меня не превышает 60%, что проявляется трудностью в разговоре и запаздыванием ответов. Среди других симптомов отмечаю гипогонадизм, на чем останавливаться не буду, но подчеркну появление полидактилий на всех конечностях, итого у меня двадцать шесть пальцев вместо положенных мне по рангу двадцати двух. Также имею честь сообщить о наличии у меня колобомы ириса, косоглазия, глухонемые, микроцефалии, кифосколиоза и незаращения артерияльного протока. Исходя из вышеизложенного, требую у вас, как у родственника, две тысячи триста шестьдесят три рубля на лечение и полное выздоровление от тяжкого недуга. Деньги вышлите почтовым переводом, чтобы быстрее дошли, к сему не любящая вас ваша теща К. К.».

Оленев не отвечал на эти письма и не звонил по

телефону, а жене никогда не говорил об этом. Сфера влияния Договора распространилась и на тещу, она тоже искала то, неизвестно что, должно быть, в области медицины, или в эпистолярном жанре, или в неумной любознательности к чужой семейной жизни. Факт оставался фактом: она тоже включилась в число Искателей.

Мимо проплыла жена в розовом пеньюаре и, послав Юрию томный воздушный поцелуй, скрылась в ванной. Оленев прошел в комнату дочери. Она лежала в одежде поверх одеяла и, дрыгая ногами, читала толстую книгу под названием «Дихотомические таблицы для определения растений».

— Сейчас же раздеваться и спать!— приказал Юра нарочито строгим тоном.

— Угу,— ответила дочь и прочитала вслух:— «Рамалина поллиария, таллом в виде прямостоячих серовато-зеленоватых кустиков, лопасти на концах притупленные и часто расширенные, покрытые по всей поверхности крупными вогнутыми соралиями. Апотеции всегда отсутствуют». Надо же, всегда!.. Секешь, папочка?

Юра ухватил ее за ногу и после недолгой шумной возни раздел и затолкал под одеяло.

— А сказку?— настойчиво потребовала неунывающая Лерочка.

Любой ребенок неповторим, тем более для своих родителей. Но для Оленева единственная дочка казалась чуть ли не уникальным, удивительным ребенком. С первых же лет она удивляла родителей и воспитателей всевозможными талантами, разбросанными в ней так щедро и, неумело, что их нельзя было собрать воедино. Она рано начала читать, еще раньше научилась сочинять непонятные сказки, пела тоже хорошо и, не зная нот, могла подобрать на пианино любую мелодию. Особенно хорошо она рисовала. Не так, как дети, а сразу по-взрослому, с соблюдением всех этих премудростей перспективы, светотени и композиции. В то же время она оставалась обыкновенным ребенком, шаловливым, веселым,

щедрым на выдумки и любознательным до бесконечности. Устав от ее «почему», Оленев просто подsunул ей Детскую энциклопедию еще в шестилетнем возрасте, она тщательно и серьезно изучила все тома и перешла к Большой. Сначала Оленев думал, что она просто, играя, перелистывает страницы, но как-то в шутку спросил ее об устройстве синхрофазотрона, и она слово в слово пересказала содержание большой статьи энциклопедии, добавив кое-что из курса физики для студентов физфака.

— Ее надо показать психиатру,— прошептала испуганная жена.— Это ненормальный ребенок. Я ее побаиваюсь.

— Ничего,— успокоил Юра.— Я тоже был вундеркиндом, а, как видишь, стал обычным врачом. Школа живо вышибет из нее все эти ненормальности.

— Как из тебя?— с надеждой спросила жена.

— Угу. Там прекрасно решают одно уравнение. Уравнение всех детей под одну гребенку. И что ты беспокоишься? И так не пропадет. Красотой бог не обидел, вся в тебя, а талант в землю не зароешь. Он всегда прорастет.

— Не родись красивой, а родись счастливой,— вздохнула жена, сетуя на свою жизнь.

Собственная судьба занимала ее больше любой чужой, даже дочкиной.

Марина унаследовала от матери вечное недовольство своей жизнью и всегда была склонна чувствовать себя обделенной и несчастной. Но с той самой поры, как Договор вошел в силу, она наконец-то стала счастливой.

Несчастливых людей в этом доме не было. Каждый был счастлив по-своему. Но — субъективно. То есть никто не испытывал разочарований и печали. Никто, кроме самого Оленева. Договор начал действовать полгода назад, когда Оленеву исполнилось тридцать три года. Ничего мистического в этом не было, просто за двадцать лет до этого, тринадцатилетним мальчиком, он

сам, собственной рукой, своей кровью, подписал клочок пергамента, услужливо подсунутый ему тем, кто изменил всю последующую жизнь Оленева. Договор и предусматривал те пункты, в которых говорилось, что все, кто будет вовлечен в него, даже помимо воли, субъективно будут счастливы и довольны. А объективное счастье — понятие слишком расплывчатое, точнее — несуществующее.

Отец был счастлив оттого, что, медленно двигаясь по времени в сторону детства, был избавлен от мук и болезней старости. Жена — тем, что могла бесконечно путешествовать и покупать любые вещи в любой стране мира без таможенных запретов. Дочь была тоже довольна, ибо, возвращаясь по времени в исходную точку, могла начать жизнь сначала и перебирать бесконечное множество вариантов своей судьбы, тем самым практически приобретая бессмертие. Сам Оленев давно получил свою долю за те двадцать лет, когда его жизнь была нормальной для окружающих, а сам он мог приобретать любые знания без усилий и напряжения. За это приходилось платить сейчас, после вступления Договора в силу, но изменить что-либо было нельзя.

Рано или поздно все они или кто-нибудь из них, должен был найти то, ради чего и был заключен Договор. Но что именно, никто не знал, даже сам виновник, вернее — проситель и исполнитель, хозяин всей этой сумасшедшей жизни, когда сюрпризы ожидают на каждом шагу и не знаешь, что произойдет через минуту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

После Дня Переворота бывали дни, длинные, как недели, когда Оленеву не хотелось жить.

Так, как он жил до сих пор.

Хотелось измениться, начать все сначала, не возвращаясь.

Он научился уединению. И в эти минуты и часы к нему стал являться собеседник. Этот собеседник мог быть кем угодно или чем угодно, он принимал форму чайника или чая, который Юра высыпал в чайник, горлышком колбы, коричневым газом, выходящим из нее, или абстрактной Мыслью. Звался собеседник Ванюшей, но это было лишь прозвище, сокращенное от полного имени — Ван Чхидра Асим, что в приблизительном переводе с хинди означало Безграничная Лесная Дыра. Это было далеко не единственное его имя, полный перечень которых занял бы несколько страниц: Философский камень, Тимкура, Бел горюч камень и так далее...

В свои тринадцать лет Юра резко выделялся среди сверстников неумным желанием узнать и постичь все. В школьной библиотеке, старой, еще дореволюционных времен, он был желанным гостем. Его пускали в заповедные уголки, где он мог часами копаться в толстых пыльных томах явно не по школьной программе. Толстые веленевые страницы пахли временем, пыль десятилетий бережно сдувалась Юриным дыханием, и странные, давно позабытые мысли и идеи открывались перед ним.

В годы его детства почти не была известна такая наука — реаниматология, и лишь потом Юра понял, куда клонил Ванюшка.

— Ты будешь реаниматологом,— сказал Ванюшка в тот день.— Медицина станет для тебя главным делом.

— Но я хочу быть химиком!— возразил Юра.— Или энтомологом. Или минералогом. Но уж никак не врачом!

— Это невозможно. Из бесчисленных вариантов будущего ты обязан выбрать один. Так надо мне. А химиком в одном из Запусков у тебя будет дочь. Это сгодится.

— Какая еще дочь?— покраснел Юра.— Мне рано жениться. И почему не сын?

— Так уж запрограммировано,— вздохнул Ванюшка,— но ты не пожалеешь, она любого пацана заткнет за пояс. Ладно, хватит болтать о пустяках. Все уже обговорено, осталось подписать Договор. Впрочем, если ты раздумал, то я поищу другого. Вдруг удастся.

— Нет-нет!— заторопился Юра.— Я согласен. Я хочу все узнать, хочу, чтобы мне не было больно, чтобы жил отец, чтобы ты нашел лекарство... Только не забудь о маме.

— В зеркале,— сказал Ванюшка,— ты будешь видеть ее в зеркале. Но только через двадцать лет, а пока ты будешь жить как все люди, и почти никаких флуктуаций вокруг тебя не возникнет. Я буду навещать тебя, правда, в других обликах. Не выделяйся, не задирай хвост, будь спокоен и мудр. Сохранность твоей жизни я гарантирую на этот срок.

— А потом?

— А потом мир вывернется наизнанку, как твои мозги!— хихикнул Философский Камень.— И тогда даже я не смогу предсказать, что случится через минуту.

— Но для чего тебе это «нечто»? Разве ты сам не можешь сделать его?

— Это невозможно. Это должно сотвориться само. И как знать, быть может, ты и сотворишь Это. Сам, без посторонней помощи. Или члены твоей семьи найдут Это случайно, не зная о нем. Я даже не знаю, как Это выглядит, только для меня Это столь важно, что Говорильня сразу пересыхает, едва я задумаюсь.

— Как я узнаю, что это и есть Это?

— Узнаю я, когда увижу. А твое дело — искать. Искать и искать.

— Ладно,— сказал Юра, решившись,— тащи свои бумаги.

— Пара пустяков!— воскликнул Ванюшка, обретая Всепроникающую форму.— Это я живенько!

Через минуту он уже зависал над столом с куском

пергамента, исписанным вязью санскрита и с маленьким перочинным ножичком.

— Здесь все обговорено. Можешь проверить. Без обмана.

— Я верю,— сказал Юра и, зажмурив глаза, положил лезвием по запястью.

Гусиное перо было всучено ему, и он, обмакнув кончик в густеющую кровь, поставил неумелую роспись. Полным именем: Юрий Петрович Оленев.

— Экземплярчик останется у меня,— весело сказал Ванюшка и, превратившись в Пылевидную форму, выпорхнул в форточку вместе с набежавшим сквозняком.

Это вернулся отец.

— Опять нахимичил?— спросил он, принохиваясь.— Да еще руку порезал! Ох, и достанется тебе в субботу! Давай перевяжу.

— Не надо, папа. Иногда мне не хочется делать то, что мне не хочется делать. Это заживет само.

— Умный ты у меня, а все еще дурачок. Есть такая штука — заражение крови. Очень серьезная.

— Я знаю, папа. Ведь я буду врачом.

— Быстро же ты меняешь свои планы.

— Так надо, папа,— по-взрослому сказал Юра и прижал губы к ранке.

— У тебя сегодня день рождения. Будешь звать гостей? Я сейчас что-нибудь приготовлю.

— У меня уже были гости. Давай вдвоем.

— Да, чуть не забыл. В дополнение к микроскопу вот тебе еще маленький амулет на счастье. Это осталось от мамы. Ты помнишь? Береги его, Юрик.

На раскрытой ладони отца лежал маленький слоник, выточенный из белого мрамора. Юра бережно опустил его в левый карман.

— Спасибо папа, я сберегу.

— Ну вот и умница...

Умницей Юра стал на другое утро. Он проснулся раньше обычного, голова была ясной и свежей, а на душе легко и прозрачно. Ни разочарований, ни обид, ни сиротского горя, ни щемящей боли. Полная ясность и невесомость, равновесие души, невозмутимость духа.

«Значит, это не игра?— спокойно подумал он.— Надо проверить».

И потянулся за учебником японского языка, который пытался изучать в последнюю неделю. Он перелистывал страницы, тут же мгновенно запечатлевая их в памяти, вникал без напряжения в хитросплетения иероглифов, слова и грамматика прочитывалась так легко, как родной язык. Захлопнув книгу, он понял, что этот этап завершен, и ему сразу же захотелось перейти к следующему. Весь день он не выходил из дома и листал, листал все книги, которые попадались под руку...

Договор исполнялся безупречно, пока лишь в одностороннем порядке — в пользу Юры. Так казалось ему самому. Он быстро изучил европейские языки, перешел к азиатским и африканским; египетская письменность и клинопись ассирийцев тоже не были для него тайной за семью печатями. Любая область знания открывалась перед ним как незапертая дверь. Он мог легко усвоить высшую математику, поломать голову над квадратурой круга, а на другой день окунуться в мудрую генетику, постигнув ее со времен Менделя до последних достижений молекулярной биологии.

Как-то, гуляя по парку, он подумал, что не знает названий многих трав и кустарников, и на другой же день, обложившись книгами по ботанике, выучил наизусть не только русские, но и латинские имена всего того, что ранее в слепоте своей попирал ногами.

Мир открывался с другой стороны, с изнаночной, скрытой и потаенной, мир звучащих и молчащих трав, насекомых, червей, невидимо совершающих подземные переходы под толщей дерна. Юра мог часами, склонившись над кустиком полыни, наблюдать форму ее

листьев, неповторимую и повторяющуюся, вдыхать ее запах — запах знаменитой травы емшан из древней легенды, заставившей половца вспомнить о забытой родине.

Он сам возвращался на свою родину, в мир корней и листьев, в мир истории, в мир вымерших народов, их страстей и желаний, тщеты и героизма, вражды и ненависти.

И что стоили вековые поиски Философского Камня, умеющего превращать все во все, если война никак не превращалась в мир, а ненависть в любовь.

А быть может, и наоборот, думалось Оленеву, поиски нетленной Истины, Абсолюта, Вечной гармонии, всего того, о чем грезилось лучшим из людей, — это и есть невидимый и неосязаемый поиск Добра и Справедливости. Тогда и он сам включался в число Искателей, и сознание этого наполняло его гордостью и заставляло убыстрять шаги на своем пути.

Рос Юра, старел отец. После школы Оленев без труда поступил в медицинский институт, и учеба давалась ему так же легко, как и раньше. Он старался не выделяться из среды сверстников, и только отличные оценки снискали ему репутацию зубрилы. Это было неправдой. Юра перелистывал любой учебник, и знания, накопленные за столетия, быстро и надежно оставались в его памяти.

Отец давно вышел на пенсию и, не выходя из своей комнаты, играл сам с собой в шахматы. С сыном ему играть было неинтересно — Юра всегда обыгрывал его в несколько ходов.

Оленев ни разу не влюблялся. Это не означало, что он был равнодушен к девушкам, он охотно заговаривал с ними, шутил, приглашал в кино, целовался в подъездах, но сам подсмеивался над приятелями, которые бесились от любви, ревновали, совершали тысячи необдуманных поступков. Он не чувствовал себя обделенным, как не ощущает свою ущербность человек, не понима-

ющий музыку или живопись, субъективное чувство душевного комфорта позволяло ему причислять себя к счастливым людям, для которых совсем не обязательны и даже опасны душевные смятения и муки.

Он встретил Марину в троллейбусе. Нечаянно наступил на ногу, извинился, они вышли на одной остановке, оказалось, что их дома находятся друг против друга, а потом он и сам не мог понять, как получилось, что они поженились. Уже спустя время он стал догадываться, что весь этот ряд случайностей, совпадений и игры судьбы был искусно навязан ему тем, с кем он заключил Договор. Он усмехался про себя, качал головой и шутя сетовал, что в Договоре не было указано о степени ума будущей жены, но назад вернуть ничего было нельзя. Она была красива, гибка, очаровательна в своей глупости. Но он не нуждался в собеседниках и относился к этому недостатку легко и спокойно.

К этому времени Юра закончил институт, красный диплом давал ему право выбора, и он сразу же попросился в реанимацию одной из крупных клинических больниц. Потом родилась дочь, были обычные хлопоты, стирка, ремонты, беготня по магазинам, детские и женские болезни. Только отец ничем не болел и для своих лет выглядел слишком молодо.

Юра равнодушно ожидал начало действия Договора. Он и в самом деле полысел, ссутулился, а своей невозмутимостью и ясностью мышления часто приводил коллег в состояние раздражения. Вечно спокойный, ироничный, он делал свое дело без излишней суеты, и как это ни покажется парадоксальным, не совершил ни одной ошибки за все годы работы. Ни один врач не сумел избежать их, горьких и непоправимых, а Оленев, «везунчик», всегда делал только то, что нужно делать, и рука его не дрогнула ни разу.

Он хорошо помнил тот день, когда впервые пришел в больницу, вчерашним студентом, новоиспеченным ин-терном.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К сенокосной поре газоны и лужайки между больничными корпусами сплошь зарастали высоким пыреем, сурепкой, тимopheевкой, люцерной. И все посвященные знали: скоро должен прийти из отпуска Титов, принести литовку, завернутую в мешок, и, раздевшись до сиротских больничных штанов, начать косьбу.

Зрелище это никогда не пропускалось. Под разными предложениями врачи выходили во двор, становились поодаль у заборчика, закуривали и наслаждались бесплатным спектаклем. Выставив живот, выпирающий из штанов, набычив голову, грузный, вспотевший Титов мерно взмахивал косой, и трава с длинным шелестом ложилась ему под ноги. Не дождавшись, когда она подсохнет, Титов сгребал ее к вечеру в мешок и уносил домой. Он держал кроликов в гараже, и ради такой мороки ему приходилось выискивать мало-мальски пригодный участок для покоса. Июль для него был страдным месяцем. Подпирая животом операционный стол, он добросовестно выстаивал необходимые часы, записывал в истории болезни скупые фразы и, не дожидаясь конца рабочего дня, шел косить.

Юра Оленев пришел в больницу в начале августа, и ему на другой же день показали Титова, красного, обожженного солнцем, неумоимо обрабатывающего очередной газон. Зрелище Юре понравилось, он знал Титова и раньше, по институту. Тот работал ассистентом на кафедре хирургии, и Юре как-то пришлось сдавать ему экзамен. Он помнил Титова, неторопливого, немногословного, с хрупким голосом и на первый взгляд недалекого и простодушного. На экзамене Титов клевал носом, косил в сторону скучным взглядом и вообще на Юру внимания не обращал. Оленев ответил по всем вопросам и, подсунув зачетку, уже ожидал пятерку, но тот так же равнодушно выставил трояк и вызвал следующего. Юра не ушел, и Титов, позевывая, спокойно

объяснил, что сам знает хирургию только на «четыре», а уж студенту больше не полагается.

С первого же дня прихода в больницу Юре пришлось доказывать, что врач из него выйдет. Именно пришлось, потому что все медицинские премудрости он усвоил еще в первый год студенчества. Такова была традиция, считалось, что в роль врача нужно вживаться постепенно, мол, репетиция — это одно, а спектакль — совсем другое дело. Та область медицины, которую он поневоле избрал для себя — анестезиология-реаниматология, преподавалась в институте плохо, ей отводились считанные часы, за которые студенты, исключая Юру, успевали воспринять слишком мало, и поэтому, придя в отделение, любой ощущал себя профаном и невеждой.

Поначалу многое казалось непонятным. И аппараты, и больные со своими болезнями, непохожими на описания учебников, и выбор тех или иных лекарств, и сам ритм работы, не прекращающийся ни на минуту.

Коллектив Юре понравился. Врачи были молодыми, языкастыми, остроумными. Грачев, заведующий отделением, тоже был молод, хотя успел защитить кандидатскую диссертацию. Слишком возиться с интернами он не собирался, рассказал, что где находится, что должен уметь и знать каждый реаниматолог, твердо обещал Великие взбучки за каждый промах и бросил их, как щенков в воду. Интернов было двое: Юра и Вовка Веселов — неутомимый остряк и неукротимый оптимист. И если Юра благополучно миновал тот период, когда к нему привыкнут и станут считать своим, то все шишки и подзатыльники сыпались на голову Веселова, отчего с годами голова его стала шишковатой и вихрастой, но характер ничуть не испортился.

Теперь Юра встречался с Титовым в операционной как равный с равным: Титов — хирург, Оленев — анестезиолог. Работал Титов неторопливо, занудливо, часто поднимал голову к потолку, словно выискивая там нужное движение скальпеля, заставляя ассистентов потеть,

молча злиться и переминаясь с ноги на ногу, но свое дело он знал получше, чем на четверку, и осложнения у его больных случались редко. Сам Титов относился к интернам, в том числе к Юре, с пренебрежением, и, если во время операции что-нибудь случалось, то он обращался к нему, лениво растягивая слова:

— Э-э, как вас там, позовите кого-нибудь из врачей.

Собственно говоря, это было прямым оскорблением, но Юра молча улыбался, никогда не звал и сам быстро справлялся со своим делом. Пустыми глазами Титов долго смотрел на непокорного мальчишку, но убедившись, что все в порядке, молча продолжал работу.

Потом, когда к Юре стали относиться как к своему, привычному и сросшемуся с отделением человеку, даже Титов снисходил до легкого наклона головы при встрече и более-менее точно называл его по имени, варьируя в ошибках от Георгия до Виктора. Но Юра быстро вставал на ноги и без тени смущения подчас спорил с Титовым о тех или иных проблемах хирургии. Тот озадаченно склонял голову, поднимал кустистые рыжие брови и, словно удивляясь безмерной наглости, кротко говорил:

— Вы ошибаетесь. Читайте побольше или спросите у старших.

Когда Юра протягивал Титову только что вышедшую в свет монографию, тот лишь мельком глядел на обложку и, отвернувшись, отражал нападение:

— Эта книга уже успела устареть, и автор ее некомпетентен. Учите японский, есть интересные статьи.

— Я его изучил еще в детстве,— отвечал Оленев, зная, что ему все равно не поверят,— эти статьи тоже успевают устаревать.

Титов брезгливо морщился и в спор больше не вступал.

У Юры подрастала дочь, он часто брал ее за руку и в свободные от дежурств дни уходил куда-нибудь далеко от дома. Едва научившись говорить, дочка стала

придумывать сказки, все детские премудрости о Колобках и Лисичках-сестричках она усвоила за месяц, и разве что какая-нибудь нганасанская сказка еще могла удивить ее, поэтому она предпочитала сочинять сама.

В один из дней они шли по солнечному летнему бульвару, и пятилетняя Лерочка на ходу сочиняла очередную сказку. Она говорила, а Оленев рассеянно слушал ее бесконечный цикл о трех странных существах, одним из которых был он сам.

— Ну и что?— спросил он в конце или на середине сказки, что было равноценно.— Оленев — это я, ладно уж, хотя и не похож, Падший Ангел — это ты, кто такой Печальный Мышонок, я догадываюсь, но откуда ты можешь знать о нем?

— Ты меня обвиняешь в недогадливости?— возмутилась дочка и ущипнула отца за руку.— Мне лично не до гадливости, когда я думаю, что теза сидит у тебя в левом кармане, а антитеза в правом, и обе такие странные!

— Ты не ребенок, ты мутант. Таких детей не бывает. Откуда ты знаешь эти слова?

— Какое тебе дело, папулечка? Раз эти слова есть, то я их знаю. Это же так просто... Но ты меня перебил. Придется сочинять другую сказку.

И она начинала новую, а Оленев зябко поежился, вспомнив, что давно потерял маленького мраморного слоника, подаренного ему отцом в день тринадцатилетия. Он потерял его в тот же день, опустив в левый карман штанов. С тех пор левые карманы брюк, пиджаков и халатов то и дело превращались в бездонные ямы, куда исчезали авторучки, монеты, носовые платки, и Оленев приучил себя не класть туда ничего. А Печальный Мышонок в сказках дочери жил именно в левом кармане Оленева, и это странное совпадение Юре явно не нравилось.

— Неужели это я породил тебя?— вздохнул Юра, когда сказка кончилась.— Я тоже считался вундеркин-

дом, но ведь не до такой же степени! И вообще, все твои сказки — это развесистая клюква! — поддразнил он дочку.

— Ага! — легко согласилась она. — Есть такая, и настолько развесистая, что под ее ветвями свободно помещается небольшой город с тремя заводиками и фабрикой по производству лапши.

И тут Оленев увидел Титова. Тот сидел на скамейке, развалившись и выпятив живот, а к его руке были привязаны поводки. Сдерживаемые ошейниками с медными бляхами и медалями, на газоне паслись кролики. Вокруг толпились дети, они дотрагивались до пушистых спинок зверьков, с опаской оглядываясь на Титова, но тот не обращал внимания на их возню, лишь щурил глаза от яркого солнца и неторопливо промокал пот со лба.

— Во! — обрадовалась Лера. — Смотри. Это знаменитый дрессировщик. У него кролики по струночке ходят, тапочки приносят, за пивом бегают, спичку зажигают и даже немного разговаривают.

— По какой струночке?

— А которая на гитаре. Кролики по струнам бегают, а дрессировщик поет.

Титов открыл зажмуренные глаза, вернее — один глаз и, приподняв кустистую бровь, посмотрел на Юру.

— А, это вы... коллега, — сказал он безразличным тоном. — Денек-то сегодня, а?

— Как поживают ваши кролики? — вежливо спросил Юра.

— Неплохо. А как вы?

— Немного лучше. Меня не держат на поводке.

— Это вам только кажется, — равнодушно сказал Титов и снова прикрыл глаза. — Вы на поводке у дочери, у жены, у работы...

И он поманил пальцем одного из зверьков. Толстая белая крольчиха приподняла голову от газона и уста-

вилась темными глазами на Титова. При этом она продолжала шевелить губами, пережевывая траву.

— Ну иди, иди,— ласково сказал Титов,— не стесняйся, тут все свои.

Крольчиха нехотя засеменила к скамейке и уткнулась мордой в ботинок Титова.

— Скажи, детка, как тебя зовут?

Крольчиха напряглась, быстро засучила передними лапками и внятно сказала:

— Манечка.

При этом раздвоенная верхняя губа сомкнулась с нижней при звуке «эм» ровно на столько, сколько и надо было.

Дети тут же столпились вокруг и, разинув рты, смотрели на говорящего зверька.

— А меня зовут Юрий Петрович,— сказал Юра.— Как вам нравится погода?

— Чудесная погода,— ответила Манечка.— Вы не находите?

— Он находит,— перебил Титов.— Но на светские разговоры способны и лягушки. Скажи-ка, детка, ты разумная?

— Конечно!— воскликнула крольчиха.— Я мыслю — следовательно, существую, как говаривал о себе Декарт. Если бы я не мыслила, то не существовала бы.

— Это логическая ошибка,— возразил Оленев.— Камень не мыслит, но существует вполне реально.

— Это вам только кажется,— назидательным тоном сказала Манечка.— Он тоже не лишен, э-э, своеобразного мышления...

Постепенно вокруг скамейки собралась небольшая плотная толпа. В основном это были родители детей, подходили и прохожие, если не слишком спешили.

— Этого не может быть,— уверенно сказал высокий мужчина в очках.— Не морочьте детям голову.

— Может, может!— заспорили дети.— По телевизору может!

— По телевизору показывают сказки, а это обман. Они шарлатаны. У него магнитофон в кармане,— и мужчина вытянул палец по направлению к Оленеву.

Юра хотел сказать, что никакого отношения ко всему этому не имеет, но рассудил, что невольно окажется предателем, и молча вывернул карманы.

— Все равно, это возмутительно,— сказала толстая женщина.— Для фокусов есть цирк.

— Они себе на бутылку зарабатывают,— добавил еще кто-то.— И газон потравили.

— Пойдем отсюда, деточка,— решительно сказал высокий, беря сына за руку.— Сейчас мультики будут показывать.

— Не хочу мультиков!— завопил ребенок.— Здесь интереснее!

Детей по одному выхватывали из круга. Бульвар оглашался ревом и плачем. Детские причитания затихающими кругами расходились от пустеющей скамейки.

Манечка выжидательно помолчала, переводя раскосый глаз с Оленева на Титова, вздохнула и посеменила к другим кроликам.

Титов, лениво пошарив по карманам, достал очки с толстыми стеклами, водрузил их на нос, и тут же переносица испарилась.

— Все ясно,— вздохнул Оленев.— Так вы и есть тот самый Философский Камень, Панацея Жизни, Красный Лев?.. Давненько не виделись. Признаться, не ожидал.

— Ван Чхидра Асим,— поправил Титов.— Хинди еще не забыл, Юрик?

— Я ничего не забыл. Но почему вы в таком виде?

— Так надо,— коротко сказал Титов, спрятав очки и вернув на место переносицу.— Я уже наверняка знаю, где надо искать.

— Но по-прежнему не знаете, что именно?

— Приблизительно. Это где-то в области человеческих исканий вечной истины и еще — близко к медицине. Это все, что я знаю. Пока знаю.

— А как наш Договор? Он еще в силе?

— Несомненно. Если я не найду через пять лет, то будешь искать ты.

— Значит, еще целых пять лет...

— Не еще, а всего-навсего. Я лишь приблизился к находке, но зато убедился наверняка, что именно ты способен найти ее. Ты или кто-то из твоих близких. От тебя исходит волнующий запах открытия.

— Договор нельзя расторгнуть?— осторожно спросил Юра.

— Он подписан твоей кровью,— отрезал Титов.

— Тогда я был мальчишкой и мог не задумываться о будущем. Мне немного не по себе, когда представляю себя и свою дочь в роли искателей того, чего нет на свете.

— Это не страшно, просто немного странно. Поначалу. Потом вы все привыкнете. Никто из вас не будет мучиться и страдать от своих поисков. Разве что ты сам... Но за любой поиск истины надо платить.

— Да, но чужой истины. Мне она не нужна.

— Чужой не бывает. Истина одна. Едина и неделима. К тому же ты получил неплохой аванс, Юрик.

— Для чего вам кролики?

— Они тоже ищут. Вернее, искали. Это очередной тупиковый путь, а сколько их было у меня за столетия! Я искал месторождение разума, полагая, что там скрывается моя потеря. Нейрохирургия, генная инженерия, годы работы — все впустую. Я образумил кроликов, но это не моя истина и вообще — ничья. Она никому не нужна. Кролики скоро умрут. И я. Через месяц.

— Отчего же?

— Я больше не нужен в форме хирурга, хирург больше не нуждается в своей работе. Очень просто. Будем считать, что мы виделись в последний раз. На работе, как на работе, а личных встреч в такой форме больше не будет. Сегодня я специально вычислил твое



появление на бульваре, чтобы напомнить о Договоре. До свиданья, Юрик.

— Прощайте,— тихо сказал Оленев.— Значит, ничего нельзя изменить?

— Ничего. Титов умрет от рака легких. В следующий раз я появлюсь перед началом вступления Договора в силу. Ты сам придешь ко мне. Через пять лет. Жди.

При этих словах Титов встал, натянул поводки, и кролики, дружно приподняв головы, построились цугом и засемили вдоль по газону. Вслед за ними шел Титов, и легкая тень колыхалась в такт его шагам.

Через день Оленев увидел Титова в коридоре клиники. Титов сидел на скамье рядом с профессором, и лицо его, краснее обычного, было настолько растерянно, что Юра сразу догадался — это и есть обещанный финиш. Ему сказали, что у Титова нашли опухоль легких. Тот, мол, узнал об этом и, напуганный, выбитый из колеи, никак не мог найти для себя те спокойные, чуть на-смешливые слова утешения, которые сотни раз говорил безнадежным больным. По-видимому, сейчас эти слова говорил ему профессор, и Титов, зная, что это ложь, все же пытался поверить им, обмануться несуществующей надеждой, чтобы не очутиться в полном одиночестве приговоренного к смерти.

Больше Титова никто не видел. Оперироваться в своей больнице он отказался, уехал в другой город, и через месяц пришла весть о его смерти. Опухоль оказалась запущенной, и после операции он протянул недолго.

На планерке профессор тихим голосом известил об этом хирургов, все встали, промолчали, никто в этот день не вспоминал причуды Титова, но жалели его не старые еще годы, диссертацию, защищенную незадолго перед этим, и лишь Юра в душе усмехался и пожелал искренне, чтобы Ванюшка успел найти свою тайну в оставшиеся пять лет без его помощи.

Первые дни работы в клинике так и связались у него неразрывно с коротким визгом косы, срезающей сочную траву, широким размахом загорелых рук, с толстогубой и косоватой усмешкой, с каплями пота на некрасивом лице. С тех пор, слыша запах гнущейся, высыхающей травы, Юра неизменно вспоминал Философский Камень, Ванюшку, Титова, возникшего в те годы перед ним в облике чудаковатого хирурга.

Постепенно о Титове забывали, только иногда, в разгар сенокоса, когда разнотравье заполняло больничный парк, кто-нибудь и говорил: «Эх, Титова нет! Трава пропадает!» Но никто не смеялся, разве что улыбался виноватой улыбкой и заводил разговор на другую тему.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Через пять лет мир перевернулся вверх ногами. А до этого лишь предощущение невероятного не оставляло Оленева. То и дело из угла комнаты доносился шорох, чей-то приглушенный смех, запах хорошего чая щекотал ноздри, иногда пропадали вещи, а на их месте появлялись новые, малопригодные для нормальной человеческой жизни. То это был Утюг для тараканов, то Гравитационная батарейка для карманного холодильника, то Рояль для молочных бутылок, то Крокодильская форточка с герметичным шлюзом и еще сотни других, таких же. Юра потихоньку выбрасывал их в мусоропровод или отдавал дочке для игр.

Он хорошо понимал, что все это — и способности к усвоению знаний, и странные предметы — лишь подготовка к тому, что должно произойти с ним, тренаж, лишний способ убедиться, что он сможет справиться с невероятным заданием. Ему сознательно выворачивали мозги наизнанку, приучали к иной логике, к иному порядку вещей, причин и следствий.

А когда мир вздыбился, горизонт встал вертикально; когда дочка стала исчезать и, блуждая по времени, то

и дело возвращаться и начинать жить сначала; когда жена из обычной женщины превратилась в вечную путешественницу, собирательницу невероятных сувениров; когда отец начал медленно уходить в сторону детства, а теща взгромоздилась в перевернутое кресло телескопа, тогда-то Оленев понял до конца, что все предыдущие двадцать лет уже работал на Ванюшку, и он стал Искателем, и этот тайный титул определил всю его судьбу.

И судьбу его близких...

Он продолжал работать там же и тем же, нисколько не стремясь подняться по социальной лесенке, с усмешкой наблюдая страсти и суету, царившие в отделении реанимации. Он был обыкновенным врачом, зауряднейшим человеком, невзрачной наружности, несколько сонным и вялым. Он не вмешивался в споры и разговоры, не утихавшие в ординаторской, а предпочитал уткнуться в какую-нибудь книгу и спокойно ждать ту неожиданную минуту, когда понадобится до предела напрячь свои силы, а это в реанимации случалось более чем часто.

Такая уж работа. То пусто, то густо. То можно сидеть в покойном кресле, прихлебывать чай, листать ученую книжку, то сразу, напряжив волю и ум, мгновенно переключаться, если привозили тяжелого больного или кто-нибудь в огромной больнице требовал его вмешательства, помощи реаниматолога и надо было успевать укладываться в считанные секунды, не совершая ни одной ошибки, ни одного промаха, ибо каждый из них мог стоить жизни человека.

У Оленева не было врагов. Не было завистников, потому что он никому не мешал, не было недоброжелателей, ибо он никому не переходил дорогу и ни с кем не вступал в конфликт. К нему относились ровно, спокойно, подчас чуть насмешливо, могли без желания обидеть, запросто хлопнуть по плечу и пригласить на

кружку пива. Он никому не отказывал, отшучивался и со всеми сохранял добрые дружеские отношения. В самом отделении он более близко сошелся с Веселовым — неутомимым остряком, а среди хирургов выделял Чумакова — человека странной и несчастной судьбы, посвятившего свою жизнь помощи чужим людям.

Помочь, спасти, отдать последнюю рубаху — в этом был весь Чумаков, ранимый, совестливый до острой боли, вечный вдовец, создатель бесконечных теорий «новой семьи», все время проверяющий их на собственной шкуре. Страдающий, конфликтующий, не нашедший точки равновесия, он привлекал Оленева незапятнанностью души, яростной самоотреченностью и бескорыстной любовью к одиноким несчастным людям. Чумаков был лет на десять старше Оленева, но от этого их дружба нисколько не страдала. Быть может, потому и тянулся Юра к нему, что подсознательно различал в Чумакове черты, утерянные им самим, изъятые у него, как непроявленный негатив иной, непохожей на эту, судьбы.

Когда Оленев пришел работать в клинику, Чумаков успел отработать там десяток лет, был заведующим отделением, и, пожалуй, лучшим хирургом. Больница была клиническая, а это означало, что на ее базе располагались кафедры института со своей иерархией, со своими правилами и законами. В хирургии главенствовал профессор Костяновский, и Чумаков вечно конфликтовал с ним, не сходилась ни в чем, в глаза и за глаза ругая его на чем свет стоит. Оленев выслушивал горячие исповеди Чумакова, иронически осаживал его, когда тот слишком уж зарывался, но взаимная вражда между профессором и Чумаковым не прекращалась.

До того самого дня, когда Костяновский получил звание члена-корреспондента и ушел в новый НИИ заведовать научной работой.

Чумаков вздохнул свободно. Оленев тут же заметил, что все равно пришел другой профессор, а так как у

Чумакова аллергия ко всем работникам кафедры, то все начинается сначала.

— Черта с два!— сказал Чумаков.— Все-таки я победил.

— Не вижу. Костяновский пошел в гору, а ты так и остался пешкой.

— Я та самая пешка, которая делает игру. Толку-то от короля в шахматах. Шаг вперед, шаг назад, шаг в сторону. А я только вперед, без компромиссов!

— Но он-то сделал рокировку, а ты уткнешься в последнюю клеточку и тут-то тебя слопают какой-нибудь ферзь.

— Подавится,— сквозь зубы сказал Чумаков.— Ты лучше на своего Грачева погляди. Чего доброго в дурдом попадет. И как ты можешь работать с таким заведующим?

— Могу,— спокойно сказал Оленев.— Он помешан на реанимации, делает свое дело, а все его завихрения вреда не приносят.

— Ого! А как же его пресловутый «оживитель»? Скорее уж «умертвитель»!

— О, это тебя не касается,— улыбнулся Оленев.— Это не из области хирургии. Мы сами с ним разберемся.

— Касается,— коротко сказал Чумаков.— Я делаю операции, отдаю больного в ваше отделение, надеюсь, что его там выйдут, а ваш чокнутый делает на нем свои идиотские эксперименты. И мои больные того...

— Неправда. Если они и умирают, то сам знаешь — не по нашей вине. А Грачев знающий и очень грамотный реаниматолог. Он на грани с гениальностью.

— Вот именно, что на грани. От сумасшествия до гениальности полшага. И пусть он попробует сунуться со своим «оживителем» к моим больным, я ему так помузицки врежу промеж глаз!

— Дыши глубже, Вася,— посоветовал Оленев.— И как твоя семья поживает? Кто там у тебя сейчас из не-

прикаянных и бездомных? Опять какой-нибудь алкоголик с амбицией?

Не так давно у Чумакова жило много обделённых судьбой людей, но прошлой зимой они разъехались, и Чумаков остался один, если не считать говорящего скворца, морских свинок и щенка дворовой породы.

— Дедушка вернулся,— просиял Чумаков.— Мой милый колдун. Я его едва узнал. Он постриг бороду, где-то раздобыл новый костюм и ведет себя совсем по-другому.

— Раньше-то он все пилюлю бессмертия искал. И нашел ведь, ага? Нашел и исчез. Я думал, что он умер.

— Как же он умрет, если нашел пилюлю!— смеялся Чумаков.— Это ты не захотел перевести его заведение, хотя и забрал себе. Небось потихоньку глотаешь после еды по столовой ложке? Поделится бы, а?

— Для чего тебе бессмертие?

— Чтобы убедиться в крепости новой семьи, нужно прожить очень долго,— серьезно сказал Чумаков, не признающий уз брака.— У меня уже кое-что получается, но нужно проиграть ряд вариантов. А мне и до пенсии недалеко.

— Познакомь меня с дедушкой,— попросил Оленев.— Раньше я его знал только с твоих слов да по завещанию. Кстати, там и в самом деле ничего особенного. Обычный алхимический набор слов вперемешку с буддийскими сутрами и цитатами из китайских философов.

— А ты что, на самом деле знаешь китайский?— усомнился Чумаков.

— Откуда бы? — хмыкнул Оленев, он знал этот язык во всех тонкостях.— Но любопытно, что дедушка делает сейчас?

— Собирает разные камни,— торжественно сказал Чумаков.— Он, оказывается, большой знаток минералогии.

— Раньше он был великим ботаником. Все травы разные варил.

— А теперь камни,— упрямо сказал Чумаков.— Он ищет в них разгадку сотворения Вселенной.

— Ага, теперь это... Ему личного бессмертия мало. Познакомь непременно...

Дедушка, найденный Чумаковым у посудного ларька и проживший у него почти год, искал пилюлю бессмертия. Он приготавливал отвары и настои из трав, толлок в ступке корешки и киноварь, каждый день совершал ритуальные омовения и больше всего почитал неиссякаемый свет Солнца. Чумаков так ничего и не понял из причудливой философии старика, но всегда относился к нему с нежностью, добывал для него самые невероятные реактивы и всячески оберегал его от обид и насмешек. Зимой дедушка ушел от Чумакова, и в то памятное утро, когда Оленев приехал в опустевшую квартиру хирурга, они нашли свернутую в трубочку школьную тетрадь, подвешенную в клетке говорящего скворца. Это и было завещание дедушки. Только одна страничка была написана на нормальном русском языке, а все остальное было заполнено непонятными Чумакову письменами и значками.

«Забери себе,— устало махнул тогда рукой Чумаков,— все равно мне здесь ни черта не понять».

Движимый своим давним стремлением узнать и прочитать все, что попадало в руки, Оленев не без труда, даже при всей своей необъятной эрудиции, расшифровал средневековые алхимические символы, перевел китайские и санскритские фразы, потом интерпретировал все это с точки зрения современной науки и с недоумением открыл, что сложная смесь, названная дедушкой пилюлей бессмертия, содержит активное вещество, если и не продляющее жизнь до беспредельности, то дающее организму сильную встряску, перестройку многих биохимических структур, особенно у тяжелых больных.

Ингредиенты смеси были многочисленны и необычны: редкие травы, приготовленные особым образом, минералы, растертые в порошок и подвергнутые обработке, вытяжки из насекомых и змей.

Увлечшись, Оленев составил рецепт вещества на понятном языке, рассчитал пропорции, выписал кое-какие химические формулы и как-то, недолго думая, показал листки Грачеву.

Грачев был человеком необыкновенным по своей увлеченности любимым делом. Почти все врачи отделения скорее отбывали неизбежную повинность в больнице, ибо знали — работа есть работа, никуда от нее не денешься, и честно отработывали свои часы, тогда как мысли их были заняты неизбывными личными проблемами: машинами, дачами, детьми, одеждой и всем тем, из чего, как им казалось, и складывается жизнь.

Матвей Степанович Грачев был аскетом. Он не пил, не курил, и, хотя был женат и растил сына, но точнее сказать, сына воспитали жена и его мать, а он сам был полностью освобожден от суеты житейских забот, и только наука, только реанимация занимали его полностью, до конца, до последней точки. Он вечно генерировал невероятные идеи, быстро схватывал все передовое, что создавалось другими врачами, и сразу же модифицировал методики, усложнял или упрощал их, вводил свои, совершенно неожиданные, практиковал такие методы, которые приводили в возмущение рядовых врачей, ибо не укладывались ни в один из канонов устоявшейся за десятилетия науки.

Скользнув взглядом по листкам, Грачев сначала хмыкнул, тут же обозвал все это ерундой, но потом, словно делая услугу, пролистал, прочитал, вернулся к самому началу, удивленно поднял бровь и спросил Оленева:

— Ты где это взял?

— Да так, один чудик раскопал в старых тибетских рукописях,— слукавил Юра, зная приверженность Гра-

чева к восточной медицине.— Покажи, говорит, своим светилам, может, сгодится.

— И где же все это раздобыть?

Оленев тут же понял, что Грачев попался на крючок, теперь вся его энергия пойдет на добывание веществ, чтобы проверить рецепт на практике.

— Кое-что найти очень просто. Это наши родные травы, но некоторые растут в горах Тибета. Минералы, наверное, можно найти у геологов, а вытяжки из насекомых и змей нетрудно сделать в нашей лаборатории. Кое-какие вещества придется синтезировать. Как видите, пустяки.

— Это надо проверить! Я оставляю тетрадь у себя, Юра. Ты, разумеется, не против?

Оленев усмехнулся и пошел дочитывать очередную книгу в укромном кресле ординаторской. Грачев развил бурную деятельность. Недосыпая, порой не возвращаясь домой из лаборатории, скрупулезно руководствуясь рецептом, используя в то же время современную аппаратуру и последние достижения биохимии, он выделил из «пилюли бессмертия» именно то вещество, которое делает обратимыми процессы в умирающем организме, что ранее считались необратимыми раз и навсегда.

— Черт побери!— кричал он, бегая по лаборатории от одного гудящего аппарата к другому.— Это же так просто! Клетки организма впадают в анабиоз, потребление кислорода падает до минимума, меняется кислотно-щелочное равновесие, и даже электролиты прекращают переход через межклеточную мембрану. Это же равносильно глубокой гипотермии, даже более того — это почти смерть, но еще не смерть, еще можно обратить вспять все обменные процессы! Ведь это не наши хваленые шесть минут клинической смерти, а почти час, больше, чем час...

Грачев потрясал колбой, в которой бурой маслянистой жидкостью поблескивала какая-то гадость, явно

не подходящая для умирающих больных. Оленев сидел в уголке лаборатории, попивал чаек, усмехался. Он уже давно вычислил формулу вещества и теперь только подсчитывал ошибки Грачева, допущенные при синтезе. Их накопилось более чем достаточно.

— Ничего у вас не получится,— сказал он.— Эта ерундовина убьет первую же собаку.

— Не убьет!— говорил Грачев, сверкая глазами пророка.— Кто у нас сегодня лежит в палате?

— Вас коллеги разорвут на мелкие кусочки. Помните, как вы вводили мумие в вену?

История была примечательная и давно вошла в ранг легенды. Тогда Грачева и в самом деле чуть не растерзали. Мумие не признавалось медициной, а вводить его раствор в вену, кажется, вообще, еще никто не додумывался. Кроме Грачева, разумеется. Объединенными усилиями его оттащили от койки больного, которого он хотел бы спасти, тогда он закатал рукав халата выше локтя и, бледный от бешенства, сам вкатил себе в вену кубиков пять настоя мумие. Ничего с ним не случилось, но случай оброс мифологическими подробностями от судорог и пены на губах Грачева до появления у него телепатических способностей.

— Давайте уж сначала на собаках,— мирно посоветовал Оленев.— Или на морских свинках. Одолжите у Чумакова.

Грачев тут же взвился и исчез из лаборатории не то ловить заблудших псов, не то вымаливать свинок у Чумакова.

Оленев посидел в опустевшей лаборатории, выключил, не торопясь, все аппараты, аккуратно загасил сигарету и записал на листке бумаги формулу вещества, чистого, свободного от случайных примесей. Потом он нарисовал ряд технологических схем для переработки сырца и оставил на столе у Грачева.

Он мог без боязни сделать все это, потому что слишком хорошо знал своего руководителя. Грачев все идеи

сотрудников автоматически считал своими и, увидев формулу, тут же объявлял, что сам вычислил ее.

А Оленев с насмешливой печалью догадался, что дедушка, живущий у Чумакова, давно знаком ему, и недаром старик искал то пилюлю бессмертия, то тайну сотворения Вселенной...

Он поехал на другой конец города, к Чумакову. К нему можно было приезжать в любое время дня и ночи, без церемоний и приглашений, тем более что Чумаков в этот день дежурил в клинике, и Оленев думал застать дедушку одного.

Так оно и получилось.

Дверь открыл высокий худой старик в строгом черном костюме, белой сорочке и черном галстуке. Седая борода аккуратно подстрижена, воротник рубашки чопорно накрахмален, и только пенсне на переносице не хватало для полного портрета старорежимного приват-доцента.

— Нинь хао,— сказал Оленев, кланяясь по-китайски и пожимая сам себе руку.— Здравствуй, Безграничная Лесная Дыра, Ванюшка ты этакий. Вот уж не думал, что эти годы ты крутишься возле меня. Не доверяешь?

— Доверяй, да проверяй,— проворчал старик, не приглашая в комнату.— Осталось несколько месяцев, ты не забыл?

— А я уж думал, что ты сам нашел. Разве пилюля бессмертия не конечная цель?

— Это опять тупиковая ветвь,— вздохнул старик и посторонился.— Это не то, что надо мне, но то, что обещал тебе. Как видишь, закономерности были замаскированы под цепь случайностей, и ты получил что хотел.

— Так это Териак, брат Философского Камня? Абсолютное лекарство?

— Брат, да не мой. Лекарство, да не абсолютное. Оно спасло бы тогда твою маму. Ты просил — я исполнил. Цепочка вьется звено за звеном, ее уже не разрубишь.

— Вот оно что... Значит, я опять лишь орудие в твоих руках. Любознательный переводчик... А ты теперь стал минералогом?

— Ищу,— коротко сказал старик.— Камень — это основа Вселенной. Может быть, там таится мое нечто.

— А если нет?

— Тогда ты,— жестко сказал старик.— Ты и найдешь.

— Чем больше я живу, тем сильнее сомневаюсь в этом. Я не знаю, кто ты на самом деле и откуда появился, но неужели за тысячи лет своей жизни и при нашем развитии науки тебе не удалось найти Это? Тебе, при твоих безграничных возможностях и способностях? Так что же смогу я, бывший вундеркинд, заурядный врач, скучный обыватель?

— Глупец,— сказал старик.— Интеллектуальная кокетка, интеллигент-самобичеватель, что ты понимаешь в великих и непостижимых поисках Истины, рассеянной во Вселенной? Когда взорвалось Большое Яйцо, Истина, скопленная в нем, рассеялась вместе с материей, и теперь приходится собирать ее по крохам. Всего, что сделали вы, не хватит, чтобы заполнить один мой карман, но это все для вас, а не для меня. Жемчуг не зарождается в навозных кучах, но может попасть туда с тем процентом случайности, что равен железной необходимости. Ты и будешь тем петухом.

— Завидная роль,— усмехнулся Оленев.— Твой рецепт уже попал в чужие руки. Это не принесет вреда людям?

— Если слишком ретиво стремиться приносить добро, оно может обратиться во зло.

— Но это лекарство на самом деле сделает револю-

цию в медицине. Разве гуманно отнять у людей надежду на здоровье и жизнь?

— Все должно быть в меру. Дай в руки маньяку абсолютное лекарство от рака, и он уничтожит человечество. Вы никогда не знали меры, вам все подавай полной пригоршней.

— Что-то ты ворчливый сегодня, Ванюшка,— улыбнулся Юра.— А у меня в запасе всего несколько месяцев нормальной жизни. Давай-ка повеселее.

— Еще надоем. Потом я буду жить у тебя.

— Хорошо. Я запасусь чаем. В какой форме ты будешь? Надеюсь, что не в этой?

— Конечно, нет. Ты посвященный. Я буду таким, каким и должен быть.

— То в Камневидной, то в Чаепитной, то в Пинательной...

— В Танцевальной, Задумчивой, Малопостижимой, Говорильной, Сбалансированной, Обалденной, Неразличимой, Гневливой, Ворчливой, Ликующей, Дарующей, в Бесконечноразнообразной форме. Наконец-то я смогу быть таким, каков я есть.

— То есть никем. Существо без постоянной формы уже не есть постоянное существо.

— Тринадцатилетним оболтусом ты выглядел совсем по-другому, так что же ты хочешь сказать, что ты и тот сопливый отпрыск — разные существа?

— Я вырос, не нарушив ни одного знака биологии.

— Как же, вырос бы ты без меня! Знаешь ли ты, что в пятнадцать с половиной лет ты должен был взорваться вместе со своим новым изобретением? Это я спас тебя от пагубной идеи.

— Значит, ты вмешивался в мою жизнь без моего ведома?

— Договор, миленький, Договор. Ты просто забыл кое-какие пункты.

— Еще бы! Ты мне его так лихо подсунул и даже не

оставил второго экземпляра. Сейчас я вряд ли бы согласился.

Квартира Чумакова походила на разгромленный музей. В углах громоздились картины художника, жившего здесь долгие годы, книги со стеллажей свалены на пол, а вместо них — образцы камней с приклеенными этикетками. Только камни и были в порядке, а все остальное находилось в состоянии первозданного хаоса. На диване спал щенок, клетка с говорящим скворцом была задвинута под стол, а сама птица медленно поворачивала голову влево и вправо, как локатор, и лукаво посверкивала глазами.

— Бедный Чумаков, — вздохнул Юра. — То алкоголики у него, то шизофреники вроде тебя. Никакой нормальной жизни.

— Это его путь. Он знает, что делает, только не знает — как. Он — великий адепт, ищущий человека.

— Чумаков хороший хирург, просто очень несчастлив. Но ты прав, он самый удивительный человек, которого я знаю.

— Причинно-следственный механизм очень сложен, — сказал старик. — Ваша дружба не случайна.

При этих словах он стал менять свою форму, съеживаться, уменьшаться в размерах, его костюм покрывался трещинами, и к концу фразы на пол с глухим стуком упал розовый камешек, похожий на ядро грецкого ореха, вернее — на обнаженный человеческий мозг.

Оленев подобрал его, подержал в ладони и поставил на полку рядом с другими камнями. Рассеянно походил по комнате, погладил вздрогнувшего во сне щенка, наклонился к говорящему скворцу и, подмигнув, спросил:

— Подслушивал, да?

— Не любо — не слушай, а есть не мешай, — нагло ответил скворец и, отвернувшись, демонстративно клюнул мучного червя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Час Договора еще не наступил, зато полным ходом разворачивалась революция в отделении реанимации. Очищенное от примесей и балластов вещество выглядело обычной прозрачной жидкостью без запаха и цвета. И вкуса у него не было, что к вящему позору неверующих доказал Грачев. Он бесстрашно лизнул жидкость, почмокал губами и, зажмурив глаза, как дегустатор, сообщил, что так оно и есть.

— Тогда это вода,— сказал Веселов.— Аква дистиллята. Еще бы, в пустыне она и мертвеца поднимет из могилы.

Грачев даже не посмотрел в сторону Веселова.

— Я назвал его «ребионит»,— торжественно изрек он.

— Короче, оживитель,— прервал его Веселов.— Идеальное лекарство для оживления. Скоро наша наука перестанет существовать. Любая домохозяйка вводит своему суженому с похмелья эту водичку в виде укола, и он вмиг оживает. Истина — она в простоте, чем проще, тем гениальнее. А то обставились аппаратами, препаратами, понаписали груды макулатуры, а смертность не уменьшается. Сейчас живенько сократим кадры, выкинем лишнее и будем пользоваться только «оживителем Грачева».

У Грачева не было чувства юмора, но он никогда не обижался на шутки коллег, потому что ставил себя несравненно выше обывательской суеты.

Был понедельник, начало рабочего дня, когда после планерки все анестезиологи-реаниматологи собираются в ординаторской и коротают время то разговорами, то вязаньем, то просто ничегонеделаньем. В понедельник операций не бывает, исключая, конечно, экстренные, а больных в палатах реанимации ведет один человек, остальным же девяти делать фактически нечего.

Вот они и сидели все девять в тесной комнате, Ве-

селов забрался на широкий подоконник, Оленев при-
тулился рядом, женщинам уступили кресла, а Грачев
расхаживал широкими шагами по ординаторской и гром-
ким голосом доказывал необходимость немедленного
эксперимента на больном человеке.

— А вы на собаках уже пробовали?— вежливо спро-
сила Мария Николаевна, никогда не поднимавшая голос.

— Пробовал,— твердо сказал Грачев.— Все выжили.

— Из ума,— вставил словечко Веселов.

— А вы им как вводили, живым или уже мертвым?—
спросила Мария Николаевна.

— А как вы сами думаете?— зарычал Грачев.— Они
были в состоянии клинической смерти, на контроле ни-
какие ветхозаветные способы не дали абсолютно ника-
кого результата, а ребионит сразу же ввел собак в со-
стояние глубокого анабиоза, и я через час, да, через час,
спокойно оживил их. Можете полюбоваться, они бегают
по двору, задрав хвосты.

— А у вас уже есть статьи на эту тему?— так же
вежливо спросила Мария Николаевна, самый неприми-
римый противник Грачева.— Лекарство утверждено ко-
митетом по применению новых средств?

— Конечно, нет. Надо собрать материал, убедиться
на практике, а потом уже завоевывать верхи. Неужели
не понятно? Это открытие перевернет всю науку!

— В таком случае я запрещаю вам проводить экспе-
рименты на людях.

— Вы не имеете права запрещать мне. Вы мой орди-
натор и обязаны подчиняться мне.

— Есть и над вами начальство, Матвей Степанович.
Оформите все должным образом и действуйте. Хотелось
бы верить, что ваш препарат поможет больным, но про-
водить незаконные опыты я не позволю.

Когда спорили Грачев и Мария Николаевна, все
остальные врачи обычно не вмешивались. Игра шла на
нервах, кто кого переиграет, кто не выдержит первым.
Иногда симпатии склонялись в сторону Грачева, иног-

да — в сторону Марии Николаевны, а чаще всего все дружно вставали и выходили в коридор или во двор, если было лето. Это когда перепалка выходила за грань интеллектуального спора.

Мария Николаевна была негласным лидером. Пока Грачев носился со своими проектами, она организовывала работу в отделении, брала на себя самые тяжелые наркозы, учила молодежь и всегда твердо отстаивала свою точку зрения, даже если была не права.

Отделение реанимации, как и любой коллектив, не было однородным. Были свои точки сближений, отталкиваний, симпатий и антипатий, группировки, подпольные склоки и сплетни. Только Оленев никогда не вмешивался в борьбу самолюбий и больше всего любил общаться с безалаберным Веселовым или с неистовым Чумаковым, несмотря на абсолютное различие между ними.

Веселов, неиссякаемый выдумщик, остряк и, как поговаривали, тайный пьяница, привлекал его открытостью души, непосредственностью и бесконечными розыгрышами над коллегами. Казалось, что для него каждый день — первое апреля. Правда, шутки его не всегда были безобидными, на него обижались, но недолго, потому что, подойдя со своей детской улыбкой, он искренне просил прощения и обещал, что впредь такого не повторится. Он не обманывал, впредь такое не повторялось, ибо в своих выдумках Веселов был неповторим.

В отделении могли кипеть любые страсти, но забавный парадокс, давно отмеченный Оленевым, оставался неизменным: стоило реаниматологам собраться вне работы у кого-нибудь в гостях или просто накануне праздника запереться в лаборатории Грачева за чашкой чая, так сразу же все начинали говорить о работе. Забывались вязания и модные силуэты, болезни детей и дачные проблемы. Даже анекдоты отодвигались на время в сторону. Оленев сидел где-нибудь в уголке, слушал все это и тихо радовался, что коллектив у них дружный, хо-

роший, а все эти революции, бунты, подкалывания и подсиживания — результат обыкновенных человеческих страстей, от которых избавлен только он сам, за что и благодарил судьбу.

Особенно сплоченным бывал коллектив, когда хирурги или терапевты начинали упрекать реаниматоров в допущенных ошибках. Тогда сразу забывались все разногласия, и все, как один, отстаивали честь отделения. Даже если нападение было массированным, с привлечением профессоров и больничного начальства. Тут уж Грачев мигом придумывал теоретические обоснования, а Мария Николаевна в своей спокойной манере доказывала правоту допущенных действий, и Оленев не помнил случая, чтобы хоть кто-нибудь предал родное отделение.

Некая кастовая гордость роднила этих разных людей. Быть реаниматологом, стоять на грани жизни и смерти, разбираться чуть ли не во всех областях медицины, вступать в споры с врачами любых других специальностей — это было прерогативой, почетной должностью, знаком отличия, печатью избранных. Так казалось всем им, и Оленев ни с кем не спорил.

Официально отделение считалось центром детской реанимации области, и туда привозили умирающих детей со всех концов большого города и из районных больниц. К тому же отделение отвечало за всех тяжелых больных в огромной больнице, начиная с родильного дома, кончая глазным центром. И еще в палатах лежали многочисленные больные, перенесшие операции, как в детском, так и во взрослых хирургических отделениях. И все это в двух палатах, на семи койках, включая кюветы с искусственным микроклиматом для недоношенных детей.

Сколько Оленев помнил, всегда шел разговор о расширении отделения, о перестройке или даже о новом корпусе, но проходили годы, и все оставалось на своих местах.

Впрочем, в последнее время пустые разговоры нача-

ли обретать реальные перспективы. Архитекторы ходили с рулонами чертежей, на территории больницы освобождалось место для пристройки, но дело пока кончилось тем, что вырубili деревья в больничном парке, выкопали котлован и заморозили стройку по неясным причинам.

Так и ютились больные, врачи и сестры в старом помещении, устаревшем с точки зрения современной реанимации. Нельзя сказать, что администрация не заботилась об отделении. Она исправно снабжала его новейшей аппаратурой, которую негде было ставить, выделяла ставки для медсестер, которых становилось все меньше и меньше, вербовала новых врачей, но желающих работать в реанимации было не так уж и много, то ли из-за тяжелого труда, то ли из-за потери престижности профессии.

Оставались самые закаленные, да и то кое-кто был бы рад уйти из родной больницы, если бы нашлось местечко потеплее. Другие просто хотели бы переменить специальность, ибо что ни говори, а моральный износ в реанимации жесток и неотвратим. Только Веселов оставался Веселовым все эти годы — неутомимым, находчивым и жизнерадостным. А что якобы попивал потихоньку, так это на работе не отражалось, и все глядели на его тайный грешок сквозь пальцы.

Вот и сейчас, в сгустившихся сумерках грядущей революции все притихли по своим углам, и только Веселов отпускал шутки, да Оленев, прикрыв веки, с нарочитым равнодушием наблюдал за событиями.

— Если хотите, Матвей Степанович, можете вводить себе эту водичку, а к больным я вас не подпущу. Это антигуманно — испытывать неапробированный препарат на больных.

— Это научно доказанный факт, Мария Николаевна, — стервенел Грачев. — Верить или не верить в тибетскую медицину — это ваше личное дело, но лекарство, созданное столетия назад, имеет такое же право на су-

ществование, как кордиамин или эуфиллин. Я четко доказал, что оно приводит к глубокому анабиозу клетки организма, в основном жизненно важные — сердца и мозга. Все равно вы не запретите мне спасать больных от смерти, я легко сделаю это без вашего согласия.

— Если я узнаю о ваших действиях, то пеняйте на себя,— спокойно сказала Мария Николаевна.— Вы знаете мой принцип — не выносить сор из избы, но ваш так называемый эксперимент выходит за рамки врачебной этики, и я сегодня же подам докладную администрации, чтобы вас отстранили от работы. Вы становитесь опасным.

— Ага!— воскликнул Грачев.— Вы сами не прочь занять мое место! Можно представить, как здесь все зарастет тиной, если вы станете заведующей.

— Ничего,— сказал Веселов.— Мы и в болоте поквакаем. Я лично ваш оживитель не буду использовать даже под страхом утопления в унитазе.

Грачев сверкнул глазами в сторону Веселова, но Оленев вовремя взял того под руку и вывел из комнаты.

— Дай лучше закурить. В воздухе пахнет грозой.

— Приказ министра запрещает врачам курить в больнице,— сказал Веселов и чиркнул спичкой.

— Пусть разбираются без нас.

— Ага,— легко согласился Веселов.— Не нашего ума дело: Пусть на Олимпе ссорятся... Но где же он раскопал эту штуковину? Сам допер? Ни за что не поверю. Он ведь и английский знает со словарем, а тут тибетский!

— Меня это не волнует,— сонно сказал Оленев, выпуская дым в сторону.— Может, и украл. Мне какое дело?

— А ты у нас всегда в стороне, тихуша.

— Свою работу я знаю,— уточнил Оленев,— а глядеть по сторонам у нас некогда. Впрочем, Грачев не блефует. Это открытие века. Если к нему не присосут-

ся разные чины, то ему и Нобелевская положена. Только ведь затрут, загребут под себя.

— Экий ты пессимист! — рассмеялся Веселов. — А мы отстоим, а потом как раскрутим шефа на всю Нобелевскую! Во погудим!

Постепенно из ординаторской выходили по одному остальные врачи. Это означало, что противодействие полярных сил нарастало, и в ход пошли не совсем дипломатические выражения.

Оленеву совсем не было обидно, что Грачев тут же начисто забыл, кому обязан своим открытием. Это его вполне устраивало, а что случится потом, то и случится. Не помрет же, не сойдет с ума.

В этот день Юра не дежурил, работы не предвиделось, и он под шумок решил уйти пораньше. Дома шел нескончаемый ремонт, на отца и жену надежды было мало, вот и приходилось все делать самому. Да и дочка должна прийти из школы. Достигший равновесия, отрекшийся от суеты мира, он сохранил одну привязанность — к дочери.

Спотыкаясь о ведра с известью и о банки с краской, он разделся в прихожей, прошел на кухню, выгрузил сумку с продуктами на стол и заранее, чтобы разогрелась, включил плиту.

Все хозяйственные хлопоты лежали на нем. Попробовав несколько раз стряпню жены, он вежливо вытеснил ее из кухни и стал готовить сам. Марина считала себя очень красивой, стеснялась хозяйственных сумок и очередей в магазинах, боялась испортить руки стиркой и мытьем полов, совершала ритуалы разгрузочных дней и настолько привыкла во всем полагаться на мужа, что оставила себе только одну заботу — неистовую и непреходящую — о самой себе. Она часами просиживала у зеркала, совершенствуя свою совершенную красоту до абсолютной неотразимости, доводила семейный

бюджет до полного банкротства платьями и шубками, а на работу ходила, как на подневольную каторгу. Дома она то порхала из комнаты в комнату, весело болтая о пустяках, то висела на телефоне, и тогда ее громкий смех заглушал все остальные голоса и шумы в квартире. Иногда на нее нападал страх заболеть неизлечимой болезнью, тогда она впадала в оцепенение, прислушиваясь к какой-нибудь неясной боли, и тут же со слезами требовала отвести ее к самому лучшему профессору. Светила медицины, обалдевшие от красоты Марины, уже без дополнительных просьб Оленева, тщательно и по долгу обследовали ее, ничего не находили и успокаивали разными приятными словами.

Отец сидел у себя в комнате и сосредоточенно смотрел на шахматную доску.

— Привет, — сказал Оленев. — Кто кого?

— Четыре — шесть, — ответил отец, передвигая слона. — Но он у меня еще попляшет.

Отец участвовал в заочном чемпионате, и ответы невидимых противников каждый день приходили по почте на особых открытках.

— Марина не звонила?

— Угу... На первое заказала луковый суп, на второе — котлеты по-киевски, а на третье сливовый компот.

— Как Лерка?

— Уже прибежала. Ее опять выгнали с уроков. Говорит, что запарила мозги учительнице арифметики своим доказательством теоремы Ферма. А сейчас убежала не то в художественную школу, не то в музыкальную, не то на кружок вольной борьбы. Я сам запутался, где она еще не была.

— Значит, все нормально, — сказал Оленев и пошел на кухню готовить заказанный обед.

Он чистил картошку, резал, не жмурясь, лук, крутил мясорубку, не спеша, в своей неторопливой манере, занимаясь любым делом естественно и без лишних движений, будь то наркоз или приготовление котлет. Мудрость

состояла для него в спокойствии духа, сопряженного с вдумчивой приемлемостью всего, что бы ни делалось на свете. Его нельзя было назвать даже терпеливым, ибо терпение — это уже напряжение душевных сил, борьба, противостояние, а он принимал мир как должное, ровно и благожелательно.

К приходу жены обед был готов, и, не дожидаясь дочери, вечно пропадающей допоздна в своих непонятных кружках и секциях, они сели втроем за кухонный стол, словно исполняя раз и навсегда устоявшийся ритуал семейного общения.

— Как дела на работе, милый?— спросила жена.

— Как всегда. Мертвые оживают, больные выздоравливают. Что может быть нового в больнице? А у тебя?

— Лучше не спрашивай!

— Хорошо. Не буду.

— Эта Леночка пришла в таком сногшибательном платье!словно на дипломатический прием. Весь стыд потеряла! Думает, что раз она любовница начальника, то ей все позволено.

— Это прискорбно. Надеюсь, вы ее осудили?

— Как же! Осудишь! Ты ей слово, а она такую гримасу состроит, будто ей укуса налили.

— Вот и налейте,— посоветовал Оленев.— А лучше всего возьми да отбей начальника.

— Фу, ты когда-нибудь научишься ревновать? Я самая верная жена в управлении. Все остальные так и норовят наставить рога своим мужьям. И ладно бы кого отбивать, а то этого пузанчика. Он же такой противный!

— Но Леночка не жалуется?

— Это же Леночка! Ты ее совсем не знаешь. Ей совершенно все равно, лишь бы дорогие подарки дарили, а еще лучше, если какая-нибудь шишка с положением.

— Ну и как, не набила себе шишек?

— Тебе бы только словами играть. Весь в дочку! Это так возмутительно, а тебе хоть трава не расти.

— Весной вырастет. Какая же трава в январе?

— Ах, милый,— вздохнула жена.— Тебе бы мои проблемы.

— Ни за что не поменяюсь. Проси что хочешь, только не это.

Почти все разговоры супругов проходили в одном ключе, за годы совместной жизни они редко переступали грань пустой болтовни. Отец обычно отмалчивался, быть может, он недолюбливал сноху, но никогда не показывал это. Выбор сына был для него священным, тем более что внуку он просто боготворил.

Ближе к ночи пришла Лерочка. Спрашивать у нее, где она шлялась, было дурным тоном. Она как-то раз и навсегда отшибла охоту коротким заявлением: «Мне уже семь лет, и на фиг пасти меня, как теленка. Поживите с мое, родители!»

Размахивая котлетой, она рассказывала, как учителька брякнулась в обморок, когда ей было доказано на пальцах, что дурацкое Диофантово уравнение имеет кучу решений со своим задолбанным числом «эн», которое, как известно любому ясельнику, должно быть целым числом больше двух, а на самом деле...

От плена Юрия избавил отец. Он бережно сграбастал внуку в охапку и потащил к себе в комнату, чтобы она помогла ему разобраться в очередном миттельшпиле.

Перед сном Юра зашел в спальню дочери выслушать очередную сказку для родителей. Вернее, сказку всегда слушал он один. Марина, послушав раза два, вздохнула и вышла из спальни. Так и повелось — ребенок рассказывает, родитель слушает, а потом оба расходятся по своим постелям и спокойно засыпают.

— М-да,— сказал Оленев, выслушав сказку до конца.— Всем бы хороша сказка, но где подтекст?

— А я под тех не подлаживаюсь, кто во всякой ерунде ищет подтекст,— ответила дочка.— Пусть ищут, что хотят, а я сочиняю как умею. Я не могу не сочинять, а

будут меня слушать или нет, меня не колыхнет. Приветик!

— Спокойной ночи. А перед учительницей извинись. Нехорошо доводить учителей до обморока.

— Я ее закопчу до стадии окорока,— пробормотала Лера, засыпая.

— Что-то будет дальше,— вздохнул Оленев, пытаясь угадать свою жизнь после вступления Договора в силу.— Это ведь только цветочки...

Но пока, как сказано в одной устаревшей книге, «еще не пришла полнота времени», шла великая битва за ребионит. Впервые за историю отделения реанимации Мария Николаевна привлекла профессоров, больничное начальство, и Грачеву устроили разбор, а если точнее— суд в закрытом зале, где были только одни врачи. Дело заключалось в том, что Грачев все-таки успел ввести свой препарат умирающему ребенку, и тот не дал эффекта. Ребенок умер.

— Это еще ничего не значит,— упрямо говорил Грачев с трибуны.— Все знали, что ребенок был обреченным, при таком заболевании еще никто не выживал. Да, я рисковал, но не жизнью ребенка, а своей честью. Я шел ва-банк, и отрицательный результат просто означает, что показания для применения ребионита должны быть сужены до пока неизвестных мне пределов. Дайте мне возможность для дальнейшей работы, и я докажу свою правоту.

— Пока что правота не на вашей стороне,— сказал новый профессор, заменивший Костяновского.— И вы должны ответить за свои действия. Ребенок мог бы и так умереть, никто не спорит, но момент его гибели совпал с введением вашего препарата.

— Дайте мне условия для работы,— зарычал Грачев.— Дайте мне нужную аппаратуру, помещение, двух лаборантов, свободу действий, и я докажу блестящую

будущность ребионита. А смерть ребенка — это случайное совпадение, вы ни за что не докажете обратное. Результаты вскрытия ничего не дали против меня. Все ресурсы были исчерпаны, и даже мой препарат, хотя и должен был ввести клетки организма в глубокий анабиоз, ничем не смог помочь.

— Значит, ребенок умер от анабиоза?— спросил второй профессор, по детской хирургии.— То есть именно от вашего лекарства?

— Я же сказал — это совпадение. Да, клетки должны были впасть в состояние анабиоза, но так как к моменту гибели у ребенка были грубые нарушения микроциркуляции, то препарат просто не проник в клетки, он так и остался в венозном русле.

— Анализ покажет, где находился ваш препарат,— сказал новый профессор.— Надеюсь, у него есть точная химическая формула и его можно выделить из продуктов метаболизма?

— Разумеется. Очень точная и вполне оправданная. Смотрите сами.

Грачев схватил мел и со скрежетом, осыпанием белой пыли стал яростно набрасывать на доске химические формулы.

— Как видите, он легко проникает сквозь межклеточную мембрану и тут же блокирует дыхание клетки.

— То есть он действует подобно синильной кислоте?— спросил второй профессор.— Как клеточный яд, блокирующий дыхательные ферменты?

— Никакого сходства! Он просто принуждает клетки впасть в состояние, независимое от поступления кислорода, анаэробного и аэробного гликолиза. Цикл Кребса тормозится, а это означает, что у нас появляется практически бесконечная возможность восстановить гомеостаз, пока организм спит.

— А как же вывести клетки из этого состояния? Разве есть антидот?

— Действие препарата обратимо,— торжественно

сказал Грачев.— Все зависит от дозы, рассчитанной на массу тела. Он сам распадается на совершенно безвредные продукты по прошествии времени. Именно доза определяет время, необходимое для выведения организма из терминального состояния.

— Значит, это что-то подобное искусственной летаргии?— спросил кто-то из зала.

— Именно так, коллега! На Востоке еще в древние времена умели впадать в состояние, близкое к летаргии, и я теперь убежден, что мой ребионит и те вещества — это одно и то же. Я не сделал никакого открытия, просто доказал с научной точки зрения правоту древних медиков.

— А кто получит Нобелевскую, вы или древние медики?— спросил Веселов.

Кое-кто рассмеялся. Профессор постучал пальцем по столу, придал лицу серьезный вид и сказал:

— Давайте резюмировать. Перед нами факт, недопустимый в медицине, главным девизом которой остается «не повреди». Я полагаю, что следует запретить Грачеву эксперименты на больных. Пусть предоставит доказательства более весомые, обобщит свои опыты над собаками, оформит в виде сообщения, и мы внимательно выслушаем, а там уже решим, как поступить. Но пока, повторяю, никаких незаконных опытов. При повторении подобного факта разговор будет происходить в другом месте. Все согласны?

Зал сдержанно загудел.

— Как вы приняли решение?— спросил профессор.

— Отрицательно,— твердо сказал Грачев.— Никто не сможет мне запретить использовать лишний шанс для спасения человека. Это ваше решение негуманно. В конце концов, я имею право распоряжаться своей жизнью и могу испытать препарат на себе.

— Вы ходите по лезвию ножа,— сказал профессор.

В своих выступлениях он любил выражаться банально и красиво.

— Как тебе, кстати, новый профессор?— спросил шепотом Оленев у Чумакова.

— Все они одним миром мазаны,— огрызнулся Чумаков, не выносивший титулы и ученые звания.— Научись сначала оперировать, а потом на кафедру лезь. Видел, как он скальпель держит?словно кухонный нож. И вообще, похож на плешивую обезьяну. Руки длинные, спина сутулая, потеет... А как он раскланивается по утрам? Направо и налево, будто гоголевский чиновник. И рожа при этом умильная, словно конфету сосет...

— Ну вот, завелся,— улыбнулся Оленев.— Ты еще обвини его, что он женат.

— И обвиню. Жену сразу же на другую кафедру пристроил, а доченьку свою в ординатуру. Это же какой позор для города! На место Костяновского — бездаря и негодяя!— претендовали три профессора и один хуже другого!

— Вот зануда. Ладно, если будет нужда, я свой живот доверю только тебе. Что-то последнее время стал побаливать в правом подреберье.

— Жри меньше сала,— ласково посоветовал Чумаков.— И вообще — меньше. Все болезни от жратвы.

Суд над Грачевым заканчивался. В первом ряду сидела Мария Николаевна, прямая и строгая, а рядом с ней, словно показывая свою солидарность,— остальные реаниматологи. Только Веселов да Оленев сидели в глубине зала. Первому из них, как обычно, было все до лампочки, а Оленеву просто нравилось соседство Чумакова.

— Как там твой дедушка?— спросил он между прочим.

— Он у меня умница. Я ему набор реактивов подарил для исследования минералов.

Оленев, вспомнив первую встречу с Ванюшкой, не выдержал и фыркнул.

— Ничего смешного,— обиделся Чумаков.— Должен же кто-то открыть тайну сотворения Вселенной.

— Я не об этом,— сказал Оленев.— Пусть открывает

на здоровье. Просто я думаю, что в начале лета он исчезнет. Уйдет от тебя и больше не вернется.

— Откуда ты знаешь?— подозрительно спросил Чумаков.

— Лето ведь. Пора отпусков,— отшутился Юра.

— Ты мне не каркай. А то живо схлопочешь...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В середине июня Оленев схлопотал по шее в буквальном смысле этого слова. Только не от Чумакова.

Дедушка, он же Философский Камень, он же Ван Чхидра Асим, он же Ванюшка, переступил порог его квартиры во всеоружии. То есть в строгом черном костюме, с дерюжным мешком в одной руке и со странническим посохом в другой.

— Все,— печально и торжественно произнес он.— Час Договора наступил. Я сделал все, что сумел, теперь дело за тобой, Юрик.

При этих словах правая рука его грациозно поднялась, и посох опустился на шею Оленева с бамбуковым сухим треском.

Сверкнула искра, и Юра ощутил, что переворачивается в пространстве сразу во всех направлениях. Верх становился низом, правое — левым, наружное — внутренним. Физически явственно он почувствовал, как внутри головы перемещаются извилины мозга. Он не упал, а только прислонился к стенке и зажмурил глаза, чтобы не так мельтешили разноцветные круги и искры, вспыхивающие в хаотическом беспорядке.

Когда он открыл глаза, то увидел, что на полу лежат полуразвязанный мешок и посох. Розовый округлый камешек валялся рядом.

— Сподобился,— сказал сам себе Юра.— Иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что.

Настал Миг, Час и День Переворота.



Что-то надломилось в душе Оленева, словно сдвинулась стрелка весов, стоявшая на нуле все эти годы, и чаши стали раскачиваться, как маятник, вечно ищущий точку покоя и равновесия.

Из мешка, лежащего на полу, стали выкатываться Вещи. Они расплзались по углам, затаивались, перешептывались, пересмеивались, превращались одна в другую, занимались своими таинственными делами, множились, и на их месте возникали новые, непонятно для чего предназначенные.

Квартира менялась на глазах. С треском лопнувших пузырей делились комнаты, из конца в конец протягивались бесконечные коридоры с распахнутыми дверями, потом они сворачивались, закольцовывались, становились огромными залами с паркетными полами и мраморными статуями и тут же сжимались в тесные кельи с сырыми стенами, поросшими мхом. Пространство то уплощалось до двухмерного, то, распахнувшись вширь и ввысь, разбухало до беспредельности, вклинивалось в одномерные западни и снова становилось привычным, трехмерным, давящим на Оленева низкими потолками, увешанными люстрами.

Время потекло назад, потом, словно спохватившись, сделало оборот вокруг оси, свернулось спиралью, запульсировало и опять обрело линейность.

Где-то вдаль на секунду мелькнул силуэт жены, идущей по тропинке в джунглях, потом появилась дочка, рассыпала учебники из ранца и убежала вперед по оси времени.

Оленев стоял посреди этого стойко, как солдатик из старой сказки, вытянув руки по швам и готовый к чему угодно.

И лишь когда все начало упорядочиваться и принимать более или менее сносные формы, Оленев поглядел на часы, идущие как попало, перевел дыхание и осмотрелся. Квартира была та же и не та, но что именно в ней переменилось, он так и не понял. Позабывтое им

чувство беспокойства и тревоги заставляло делать что-то, мучительно размышлять об утраченном равновесии.

Из дальней комнаты донеслось старческое шлепанье босых ног и кашель, привычный, знакомый. А потом слышалось пение. Отец никогда не пел, даже за праздничным столом, тем более странно было слышать слова старой колыбельной:

*Баю-баюшки-баю,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Во серебряную...*

Оленев вошел в комнату отца и увидел, как тот в длинных сатиновых трусах расхаживает от стены к стене и укачивает Леркину куклу, заботливо укутанную в рубашку.

— Ты чего, батя?

Отец хихикнул и подмигнул левым глазом.

— Спи,— сказал Юра и прикрыл дверь.

Рядом с дверью появилась новая вещь — большое старинное зеркало в тяжелой бронзовой раме. Юра машинально остановился возле него, но не увидел своего отражения. В зеркале, напротив Юры, стояла его молодая мама и поправляла волосы. В цветном крепдешиновом платье с плечиками, с голубыми, чуть печальными глазами, почти позабытая, но не забываемая им никогда, она смотрела прямо на него, он не выдержал и сказал:

— Здравствуй, мама.

Она ничего не ответила, положила расческу на тот подзеркальник и молча вышла, как из кадра кино. Вместо нее остался кусок прошлого: обои из далекого детства, копия картины Шишкина и давным-давно сожженный фанерный шкаф.

На кухонном столе лежало нераспечатанное письмо. По крупному детскому почерку Юра понял, что оно от тещи. Каким ветром его занесло сюда, не было смысла

разбираться. Он просто взял и прочитал письмо. Оно было кратким:

«К вашей злорадной радости я заболела тяжким недугом под названием синдром Торстена — Ларсона, имевшим проявиться у меня в виде ихтиоза, и теперь кожа у меня как у аллигатора, хоть в цирке выступай, на что я не соглашусь ни за какие шанежки, а также началось развитие олигофрении от слабоумия до полного идиотизма с дегенерацией мозжечковых путей и аномалией скелета в виде врожденной кривой ноги, поэтому я намерена выколотить из вас тысячу рублей, как минимум, ибо без них я скоропостижно скончаюсь, а такое удовольствие вам доставить я не имею морального права. Деньги шлите нарочным. Ваша К. К.»

Оленев аккуратно смастерил из письма голубка и пустил в открытую форточку.

На стол вскарабкался Ванюшка, таща большую чашку с красным цветком георгина.

— Если бы ты знал,— проговорил он, обретая Благодарную форму,— если бы ты знал, как все удачно складывается! За все годы моей квазижизни я ни разу не чувал так близко запах моей находки. До чего же ловко я нашел тебя двадцать лет назад! Лежал вот и думал: сейчас меня как поднимет этот юный оболтус, как начнет докапываться, а я ему как запудрю мозги!

— Меня сгубило неумное любопытство,— вздохнул Оленев,— но в общем-то я ни о чем не жалею. Я просто разучился жалеть. Ты сделал меня не мудрым, а равнодушным. Я думал, что безмятежность и равновесие — это вершина мудрости, но все эти двадцать лет я никого не любил, ни разу не страдал, не мучился от ревности, от обиды, от нанесенного оскорбления. Хоть отцовской любви ты меня не лишил...

— Это было запрограммировано,— перебил Ванюшка, забавы ради перекатываясь по столу.— Любовь к детям возвышает и успокаивает, любовь к женщине приносит страдания.

— Ты же лишил меня части обыкновенной человеческой души! Чумаков страдает, но он намного счастливее меня. Он вечно ищет, а я уже нашел.

— Э нет! Ты не нашел для себя, и для меня потрудись-ка! Конечно, наш Договор — это просто кусок телячьей кожи, исписанный всякой ерундой, но его не нарушить. От тебя уже ничего не зависит. Круг искателей определен и замкнут.

— Какой нам отпущен срок?

— От двухкопеечного до шести световых лет,— еле слышно сказал Ванюшка, отваливаясь от выпитой чашки и свертываясь в Засыпательную форму. И заснул.

Оленев рассеянно бродил по комнатам, машинально прибирал разбросанные вещи, открывал незнакомые двери, попадал в чужие квартиры без хозяев, проходил их насквозь, выходил на лестничную площадку, садился в лифт и снова оказывался у себя на кухне, где на столе, среди чашек и рассыпанного печенья спал Ванюшка; проецируя свои сладкие сны на кафельную стенку. Сны были приторными и липкими, мармеладо-шоколадо-зефирными, карамеле-пастилкоподобными, то невесомыми, как безе, то тягучими и темными, как патока.

Неосознанное желание двигаться, изменять свое положение в пространстве толкало Оленева, а сам он пытался схватить за хвостик неуловимую мысль, родившуюся в нем в Миг Переворота. Внутреннее беспокойство, незнакомое или просто позабытое им, будоражило, шекотало, шевелилось, готовое вот-вот обрести словесную или вещественную форму.

— Кто вы?— ошалело спросил Юра, споткнувшись о красивую женщину, сидящую на полу.

Женщина устало улыбнулась, потом подмигнула и нарочито весело сказала:

— Ты все такой же, папашка. Хоть в лоб, хоть по лбу.

— Привет,— сказал Оленев.— Это ты, Лерка? Ког-

да ты успела вырасти? Тебе же завтра ехать в пионер-лагерь...

— Какой еще лагерь, папочка? Видишь, я вернулась. Я больше не могу так жить, и пропади пропадом все эти чемпионские титулы! Одних лавровых венков хватит для супов всего города, а из моих кубков можно напоить четыре подъезда. И для чего? Молодость проходит, шумиха улеглась, обо мне уже забывают, два раза замужем, внука тебе родить некогда — сборы, чемпионаты, олимпиады, спартакиады, весь мир объехала, облетела, всех обскакала, обогнала, а дальше, что дальше?

— Начни сначала, — горько усмехнулся Оленев, нежно и осторожно прикасаясь к руке дочери. — Ты зря занялась спортом, наверное, это не для тебя.

— Сейчас какой год?.. Значит, мне всего десять лет! Вся жизнь впереди! Уж на этот раз я не ошибусь!

Валерия повеселела, с размаху сделала шпагат, перешла в стойку на голове, сварганила сложный кульбит в воздухе. Лицо взрослой усталой женщины высветилось детской озорной улыбкой, волосы растрепались, она повисла на шее отца и громко чмокнула в щеку. Оленев чуть не упал, машинально вытер ладонью след от помады.

— Как хорошо дома! — рассмеялась дочь. — Детство, оно так близко! Вот оно, рукой подать.

Валерия протянула руку к стене, погладила ладонью шероховатые обои и, прижавшись всем телом, вошла в бетонную преграду. На секунду обрисовался черный силуэт, и стена бесшумно сомкнулась за ее спиной.

Оленев поспешно обогнул угол, вошел в спальню дочери, но тут же заблудился. Это была не спальня, а маленький тронный зал, украшенный позолоченной лепниной и гирляндами цветов. Жарко горели восковые свечи в бронзовых канделябрах, мягко светился начищенный паркет, три ступеньки, покрытые ковром, вели к трону, искусно выточенному из слоновой кости. На

троне восседал Ванюшка, жонглируя скипетром и державой с ловкостью тамбурмажора. Увидев Оленева, он открыл Говорильню и сказал царственным голосом:

— Какие будут просьбы, петиции, реляции, хартии, анонимки, доносы, допросы, вопросы? Живее, мне некогда.

Оленев опустился в кривоное кресло, обитое шелком, перевел дыхание.

— Намастэ! Кафи дын хо гаэ, маене тумхе нахи де-ха хаэ (Привет! Давно я тебя не видел),— сказал он на хинди.

— Иах тумхари галаты хаэ! Қалх хи то. (Ты ошибаешься! Только вчера.)

— Киси бхи халат мэ май якин нахи кар сакта. (Ни за что не поверю!) Разве не сегодня?

— А где граница между вчера и сегодня?

— А где граница между равнодушием и равновесием?— раздраженно спросил Оленев.— Что-то сломалось во мне. Мне остро не хватает чего-то. А чего именно, я и сам не знаю. У меня разбегаются мысли.

— Привяжи их веревочками,— посоветовал Ванюшка.— Или посади на цепь. Хочешь, подарю тебе шикарную конуру?

— Верни мне покой.

— Ищи. Он — в тебе.

— Это ты лишил меня любви?

— Сам просил. Но если ты влюбишься, то нарушишь Договор. Это чревато.

— Чем?

— Чревом, червями, червоточинкой, черт знает чем! Как в картах. Есть час пик, час бубей, час треф, час червей. Играй! Блефуй! Ходи ва-банк! Проиграешь — вот мой меч, изволь на плаху лечь. Выиграешь — чур пополам. Идет?

— Ты заманил меня в западню.

— Не передергивай карты. Ты сам хотел... Эх, времечко по темечку!— воскликнул Ванюшка, превратился

в Долбательную форму и, запустив в Юру скипетром и державой, промазал.

Весомые символы невесомой власти просви́стели мимо ушей и улетели в Никуда. Ванюшка между тем превратился ни во Что, а Оленев очутился на кухне.

Кухонный стол доброй половиной врался в стену вместе со всей утварью, и получалось так, что чашки и тарелки были перерезаны под разными углами кафельной преградой. За столом сидела Марина и торопливо хлебала остывший борщ. Красное пончо елозило по крошкам и грязным тарелкам, Оленев молча взял тряпку и стал вытирать стол. У Марины были затравленные голодные глаза, она покосилась на Юру и придвинула тарелку поближе.

— Ешь, ешь,— тихо сказал Юра,— я сейчас второе разогрею. Ну, как прогулка? Где была?

— Чтоб я еще раз выходила замуж за вождя камайюра!— воскликнула Марина.— Нет, ты не думай, что я тебе изменяла! Я — самая верная на свете жена, ты знаешь. Но это же полнейшая дичь, у него четыре жены, все живут в разных деревнях, а он раз в неделю объезжает их вместе со свитой и думает, что это и есть самая нормальная семья. Я не дождалась его приезда и умотала. Чуть с голода не померла.

— Как ты там оказалась?— устало спросил Юра.

— Как обычно,— раздраженно пожала плечами жена.— Вышла из дома, села на автобус и приехала. Дурацкий вопрос... Но знаешь, милый,— с обычной непоследовательностью перешла она на мурлыкающий тон,— до чего это было замечательно! Никаких идиотских тряпок, один набедренный пояс из листьев кароа, а у меня идеальная фигура, ты же знаешь. Эти туземки — такие уродки, а тут приезжаю я, и что тут началось! Нет, это было великолепно!

Она затолкала в рот бифштекс и дальнейшую тираду произносила невнятно, но выразительно.

— ...а пончо уже на обратном пути. Подарил один

креол. Я их креольского языка не понимаю, но какая мимика, какие жесты!.. В пульперии из-за меня драка, табуреткой по голове, навахи блесят, кольты палят, сплошной вестерн! Вот это жизнь! А то торчу в своей конторе, на Леночку глядеть тошно, сплетни, интриги, скуотища... Да, я привезла тебе подарок, дорогой. Я о тебе ни на минуту не забывала. Лысунчик ты мой, очкарик.

Насытившись, Марина извлекла из-под стола мохнатую сумку и вытащила маленькие рожки неизвестного животного. Игриво приложила их к темени мужа, оцениваяще оглядела и одобрительно кивнула.

— Ну ладно, пойду посплю часок, а то умоталась до предела. Ты позвони мне на работу, скажи, что ушла на больничный. Ты же мне устроишь, милый? Что тебе стоит?

Она чмокнула Юру в затылок и вышла из кухни, оставив после себя стойкий запах мускуса и амбры.

А Юру не покидало ощущение непонятной потери. Оно росло в нем вверх и в стороны, как тополь из неведомого зернышка, заполняло пустующие пространства, оттесняло малолюдные области, прорастало сквозь шумные скопища людей и слов, захватывало мало-помалу застоявшиеся, с илистым дном, мысли и чувства, доводило до отчаяния, до неведомого ранее желания разрываться и повалиться лицом в подушку.

— Что-то не так,— бормотал он, блуждая по лабиринтам комнат, запинаясь о вещи, отражаясь в кривых зеркалах, оставляя талые следы на коврах и паркетах,— что-то прошло мимо. Годы жизни, потраченные впустую. Отец, работа, жена, дочь, все как у людей, никаких отклонений, разочарований, бед, потерь, пожаров, землетрясений. Где же она, моя пропажа? Не его, а именно моя? Гипноз, сомнамбула, кролик под взглядом удава... Познание, бесконечное узнавание нового, равновесие и равнодушие, точка опоры, находящаяся внутри меня, независимость от помощи других

людей, спокойное восприятие добра и зла, неразделенность мира на крайности, парение в невесомости, полет в никуда... Инвариантность времени, ветвление его, как в шахматах, бесконечное множество решений при одинаковом дебюте. Я заблудился во времени...

Стало нечем дышать. Духота распирала легкие. В горле першило. На грудь давил тяжелый спрессованный воздух.

— Ка эа коэ э хагу,— выдохнул Оленев ритуальную фразу жителей острова Пасхи.— Нет больше дыхания.

Остановился у подоконника, украшенного пометом чаек и летучих мышей, рывком распахнул Окно в мир и увидел ее.

Она шла по другой стороне улицы, освещенная закатным июньским солнцем, юная и красивая, задумчиво наклонив голову, в такт шагам покачивая сумкой на длинном ремне, как мимолетный эпизод из сентиментального фильма. Картинка из придуманной недоступной жизни. Сценка, сочиненная слезливым режиссером. Лубочный коврик на стене.

Оленев зажмурился. Реальность сплеталась с нереальностью, явь со сном, жизнь с мизансценой театра, бред принимал очертания точной математической формулы. Там, за Окном, был настоящий мир, подчиненный жестким логическим законам, не зависящим от произвола и безграничного беззакония тягостного сна.

Шумела, гудела, пела многоголосым хором широкая улица, по мостовой, как по заводскому конвейеру, потоком текли автомобили, тротуары пестрели разноцветными и разноликими прохожими, открывались двери магазинов, выплескивали людские ручки, вливавшиеся в реки, шуршали разворачиваемые газеты, разноязыкие радиоголоса приносили тревожные новости, экраны телевизоров вспыхивали разрывами снарядов, рушились города в разных концах земли, авианосцы распарывали океаны брюхатыми тушами, тяжелые бомбардировщики барражировали вдоль границ, а там, выше, в апо-

геях и перигеях земных орбит зависали спутники с распластанными крыльями солнечных батарей, похожие издали на блестящие новогодние игрушки. Всевидящие глаза, всеслышащие уши, сверхчуткие пальцы просматривали, прослушивали, прощупывали земли и воды, леса и горы, пустыни и города.

Но она шла сквозь мир, как подвижный оазис тишины и долгожданного счастья, затаенного ожидания и светлой печали. Оазис любви в пустыне мира, неразделенный с ним в своей обособленности, слитый в своей отдаленности и отделенности. Женщина. Губящая и спасающая. Приносящая боль и радость. Беспечальное страдание. Легкомысленная задумчивость. Наполненная пустота. Плоть от плоти бесконечно изменчивого мира Земли.

Оленев полной грудью вдыхал воздух планеты, смотрел на женщину, следил ее прихотливый путь среди людей, стараясь запомнить неповторимую походку, лицо, глаза.

— Это она,— сказал он сам себе облегченно.— Да, это она.

И в ту же минуту Окно стало затягиваться полупрозрачной зеркальной пленкой. Она быстро нарастала с краев рамы, упругая и прочная, суживаясь, как диафрагма фотоаппарата в центре Окна. Сквозь нее Юра увидел ту же самую улицу, уже безмолвную, и свое отражение, наложенное, как диапозитив, на уличный пейзаж. Его смутное лицо на миг — соприкоснулось с силуэтом идущей женщины, и что-то шевельнулось в сердце, кольнуло в мертвеющей душе.

(Словно смотришь в окно ночного поезда и видишь свое лицо на фоне мелькающих столбов и неподвижного ночного неба.)

Он отошел от Окна. И виделось так далеко, что казалось — нет пределов ни времени его жизни, ни странству, которое он способен пройти, чтобы достичь цели. Он бережно прикрыл за собой входную дверь,

проехал две станции на метро, в многолюдном потоке встал на ступеньку эскалатора и, глядя вперед, поверх голов и шляп, увидел далекую звезду, мерцающую в ночном небе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он пересел в автобус, в его привычную сутолоку, в утреннюю хмурую суету, в сонную раздражительность незнакомых людей. У него была любимая игра — проигрывать варианты возможной судьбы. Если бы...

Вот например, если бы стоящий рядом мужчина с помятым лицом и затравленным взглядом изгоя оказался бы его братом. Его звали бы Витькой, в детстве они часто дрались, но старший брат Витька всегда вставал на его сторону в уличных потасовках. Он, Юра, всегда завидовал брату, его независимости, походке и даже старался сутулиться, как старший брат. Но шло время, Витька, как принято говорить, попал в дурную компанию и однажды, не рассчитав силы своего гнева, поднял руку с ножом... Он вернулся домой через несколько лет озлобленным и опустошенным, неудачно женился, вернулся к отцу и брату, долгими вечерами запирался в своей комнате и пил в одиночку. Его выгоняли за прогулы, месяцами он мыкался в поисках новой работы, скандалил дома, куражился, сетовал на несправедливость судьбы, распределившей свои блага столь не поровну между братьями. И вот Юра «вышел в люди», закончил институт и зажил своей жизнью, а брат так и остался неприкаянным. Только и осталось у них общего — одинаковая сутулость...

«Чем я смогу помочь ему? — подумал Юра, прижимаясь к плечу соседа. — Как вернуть вспять утраченные возможности?»

И тут же удивился себе. Раньше он проигрывал эти игры для забавы, чтобы сократить дорогу, и, выходя из

автобуса, начисто забывал о случайных людях, а сейчас боль, вошедшая в сердце, боль за другого человека, не уходила, а щемяще томила, будоражила душу. Автобус занесло на повороте, Юра потерял равновесие и ухватился за рукав соседа.

— Ну ты!— сказал тот.— Рукав оторвешь. Пальтукан-то не казенный.

Юре захотелось сказать ему теплые слова, ободрить или хотя бы незаметно сунуть в карман трешку, но тут он увидел ее.

Ту самую, чей силуэт слился с его отражением в День Переворота. Она стояла далеко впереди, за плотной толпой, он узнал ее лицо, отрешенное и печальное, руку, прижатую к поручню, сумку, перекинутую через плечо.

— Извините,— сказал Юра, пытаясь протолкнуться вперед.— Мне нужно выйти.

— Ну и лезь в заднюю,— грубо сказал сосед.— Чего вперед поперся?

— Там моя жена,— сказал Юра наугад, не отрывая взгляда от женщины.— Она не знает, где выходить.

— Поразводили жен,— хмуро проворчал сосед.— В автобусе не проедешь.

Оленев упорно пробирался вперед, выслушивая мнения о своей особе, то и дело терял из вида женщину и, когда с облегчением добрался до передней площадки, то успел увидеть лишь мелькнувший за окном такой знакомый и невероятно далекий профиль. Автобус дернулся и, набирая скорость, пополз вдоль домов и газонов.

— Мне выходить!— прокричал Оленев.— Остановите!

— Раньше надо было готовиться, ротозей,— ответили ему и нечаянно наступили на ногу.

От остановки до больницы идти довольно далеко. Он шел по обочине дороги, параллельно ему, обгоняя или отставая, шли знакомые люди — врачи и медсестры, он кивал, поднимал в приветствии руку, улыбался в ответ,

все было привычно, так же, как и вчера, и десять лет назад. Его догнал Чумаков. Сильная мужская ладонь хлопнула его по плечу.

— Ты чего такой кислый, как простокваша? С женой, что ли, поругался?

— А у тебя других причин не бывает?

— Еще бы!—удовлетворенно сказал Чумаков, не признающий уз брака.— Любая семья — маленькие хитрости.

— А как твоя?— рассеянно спросил Оленев.— Как дедушка?

— Ушел вчера в экспедицию,— хмуро ответил Чумаков.— За камнями. Это ты накаркал?

— Нашел ворона. Сам, как белая ворона, носишься со своими теориями. На здравый смысл — бобыль с комплексами.

— Ты это брось!— сказал Чумаков, заводящийся с пол-оборота.— Сцены семейной жизни не для меня, ты это знаешь. А дедушка вернется.

Оленев хотел сказать, что бывший постоялец Чумакова уже никогда не вернется в его холостяцкую квартиру, но обижать друга не было желания, и он перешел на привычный разговор о том о сем, не вслушиваясь ни в свои слова, ни в реплики Чумакова. Его не покидала назойливая, будоражащая мысль о потерянной возможности обретения новой жизни, неизведанных чувств, непрощенных слов, неслыханных поступков.

«Я найду ее,— думал он,— все равно найду. Рано или поздно. Но что я скажу ей? О своей любви? Это глупо. Она примет меня за идиота или за нахала. Я так и не научился знакомиться с женщинами. Как это невероятно трудно — подойти к незнакомому человеку и сказать, что хочешь быть рядом с ним. Всю жизнь. До конца».

— ...а Грачев совсем сбрендил,— продолжал распаляться Чумаков.— Мне вчера звонили из больницы. Говорят, что ворвался в мое отделение и стал искать

добровольцев для проведения своих эпохальных опытов. Его вежливо выперли. Жаль, что пинков постеснялись надавать. Я уж ему сам сегодня всыплю. До чего обнаглел!

— Не заводись. Грачев думает не о славе, а о больных. Другое дело, что не все средства хороши для достижения цели. Он сам поймет, вот увидишь.

— Черного кобеля...— проворчал Чумаков, заходя в холл для посетителей.

Его тут же окружили родственники больных, и Чумаков, позабыв о споре, переключился на чужие беды и горести.

— Не опоздай на планерку,— кинул ему Оленев и пошел в свое отделение.

Там было все как всегда. Приходили врачи, переодевались в углу, за раскрытой дверкой шкафа. Шли обычные разговоры: о детях, погоде, дежурный хирург распекал Веселова, остальные смеялись. Веселов, дождавшись, когда коллега заснет, ухитрился прибить его тапочки к полу гвоздями, а потом позвонил по телефону из приемного покоя. Спросонья тот вскочил, накинул халат, сунул ноги в тапочки и...

— Тебе когда-нибудь устроят темную,— сказал Оленев приятелю.— Достукаешься.

— А в темноте еще интереснее,— не унывал Веселов.— Я вам всем подолью в чай мочегонное в лошадиных дозах, да перед очередной конференцией. Во пляшете!

— Выгонят тебя,— посетовал Оленев.— И поделом будет. Опять с похмелья?

— Еще чего!— искренне возмутился тот.— Я по утрам только кефир. Ни-ни!

— Где шеф? Пора планерку начинать.

— Отсыпается в лаборатории. Вчера шарашил всю ночь по отделениям. Теперь до обеда не сыщешь.

Планерку вела Мария Николаевна. Отчитывались дежурные сестры. Температура, давление, пульс, общее

состояние. Умерла бабушка с запущенным раком, привычная фраза: «Реанимационные мероприятия к успеху не привели». Это означало, что дежурные врачи и сестры, зная наперед о бесполезности своих усилий, делали все возможное в течение часа, если не больше, все еще надеясь на обратимость неотвратимого.

«Неблагодарнейшая профессия,— вдруг подумал Оленев.— Бьешься как рыба об лед, выматываешься до предела, когда уже почти все определено заранее. Организм подошел к грани, все наши лекарства и аппараты ничего не могут поделать. Мы можем лишь помочь человеку напрячь последние силы, подтолкнуть к жизни. Так и не сбывшийся миф о возможности оживления... Чем больше работаешь, тем больше убеждаешься в своем бессилии. Так дальше нельзя...»

Оленев, как и все остальные врачи его отделения, существовал в больнице в двух ипостасях. Как реаниматолог — специалист по тяжелым больным, и как анестезиолог — человек, дарующий забвение во время операции. Два лика одной профессии, слитые воедино. Вернуть человека к жизни, выгнать из его тела поселившуюся смерть и наоборот — ввергнуть в бессознательность, пока больной лежит на операционном столе с разъятым телом. Наркоз — искусственная обратимая полусмерть-полужизнь, и все ниточки в руках анестезиолога, пока хирурги неторопливо делают свое дело, убежденные в надежности партнера. Как альпинисты в одной связке — больной, хирург, анестезиолог.

Да, он любил свою профессию, и, невзирая ни на что, ему всегда казалось, что он сам избрал ее, сам пришел к мысли, что именно здесь сможет выявить свои способности. И только теперь, рассеянно слушая немногословные распоряжения Марии Николаевны, Оленев впервые подумал о том, что выбор был навязан ему в те далекие годы при первой встрече с Философским Камнем.

«Интересно,— думал он, сидя на широком подоконнике и поставив ноги на батарею,— кем бы я мог стать?

Химиком, как мечтал в детстве? Биологом? Палеонтологом? Лингвистом-полиглотом? Десятки возможностей, непржитых судеб. Теперь это в руках моей дочери. Возвращаться в точку отсчета, в далекое детство, когда все впереди и жизнь кажется безграничной, как звездное небо. Но обретет ли она счастье в бесконечном поиске вариантов? И разве я несчастлив? Разве я не на своем месте?»

Потом была общая планерка, потом Оленев поднялся в операционную к своему любимому напарнику Чумакову. Шла плановая операция, Чумаков напевал вполголоса, неимоверно фальшивя, руки его сноровисто мелькали над окровавленной простыней, а Юра привычно выслушивал краткие сообщения сестры о давлении, пульсе, изменял параметры на респираторе, просил ввести в вену то или иное лекарство, но почему-то ощущение близкой беды отяжеляло душу, словно вот-вот должно случиться что-то непоправимое и он, Оленев, окажется если не виновником, то соучастником страшной ошибки. Первой за все годы работы в больнице.

Он обеспокоенно подходил к больному, заглядывал в узкие, остановившиеся зрачки, сам считал пульс, заходил за спину Чумакова, смотрел, как тот накладывает швы, операция близилась к концу, ничто не предвещало неожиданной трагедии, и Оленев гнал от себя назойливые мысли, объясняя их событиями вчерашнего сумбурного дня и переломом в душе.

Чумаков с ассистентами уже весело переговаривались в предоперационной, скидывали пропотевшие халаты, закуривали, кто-то непринужденно рассказывал анекдот, а Оленев не покидал больного, хотя все шло нормально, как по учебнику. Восстановилось дыхание, ровное и спокойное, давление держалось на должной высоте, больной приоткрыл глаза и пошевелил губами, пытаясь что-то сказать. Сестра-анестезист вопросительно посмотрела на Юру, она знала, что больного пора переводить в палату, но Оленев мешкал, послал за ла-

борантом, чтобы взяли анализы, хотя в этом не было необходимости.

— Ты чего вошкаешься?— запросто спросил Чумаков, заглядывая в операционную.— Что-нибудь не так?

— Все нормально. Просто не хочется спускаться в ординаторскую.

— А, женские склоки,— удовлетворенно сказал Чумаков и скрылся. Подобное объяснение его вполне устраивало.

Оттолкнув Чумакова, в операционную влетел Веселов.

— Куда без маски?— сразу же прикрикнула операционная сестра.

— Бал-маскарад, что ли?— огрызнулся Веселов и обратился к Чумакову:— Давай-ка закругляйся, там женщину привезли на попутной машине, трамваем сбило. Машка у главного, остальные в операционных торчат, я один в палате. А после дежурства башка дурная. Давай на подмогу.

Они бегом спустились с третьего этажа на первый— в палату реанимации. Там шла размеренная суэта. Опытные сестры молча и сноровисто готовили системы для переливания, шприцы, необходимые лекарства, аппарат для искусственной вентиляции легких — респиратор. На койке лежала женщина в окровавленной одежде, санитарки бережно раздевали ее, она стонала с закрытыми глазами. Оленев быстрыми, точными движениями ощупал тело, переломов не было, приоткрыл лицо от спутанных прядей и узнал.

Да, это была она. Та самая женщина, мелькнувшая вчера в Окне и увиденная сегодня в утреннем автобусе.

«Вот откуда предчувствие беды,— подумал Оленев, считая ускользящий пульс, прислушиваясь к хрипящему дыханию.— Так, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого, возможен отек».

— Делай подключичную,— бросил он Веселову, и

сестрам:— Готовьте на интубацию. Кровь на группу забрали? Аппарат для гипотермии...

У Веселова слегка подрагивали руки, но свое дело он сделал безошибочно и быстро. Многолетний навык брал свое. Остальное делал Оленев. Все то, что зависит в реанимации от ловкости натренированных рук, способных выполнить любую манипуляцию в любых условиях, проводилось автоматически, а мысли были заняты другим, не менее важным: что еще сделать как можно быстрее, чтобы отвоевать секунды у грозной беды.

— Давление падает,— сказала одна из сестер.

Оленев знал прекрасно, что надо сделать в этом случае, еще вчера знал и предвидел любые скачки и перемены, возможные в ближайшие мгновения, но вдруг на него напало оцепенение, он облокотился о спинку кровати, чтобы не пошатнуться, провел ладонью по вспотевшему лбу.

— Энцефалограф,— сказал он невнятно, превозмогая неподатливость языка.— И позовите нейрохирурга. Возможна гематома. Да, разбуди шефа...

— Чем? Пушкой? Я лучше за Машкой сбегаяю. Пусть поруководит. Она это любит.

Веселов хлопнул дверью, а Оленев так и остался стоять у изножья кровати. Отмытое от крови лицо женщины показалось ему еще более знакомым и близким.

«Неужели я потеряю ее, не успев найти?»— подумал он.

Мерно гудел респиратор, стуча на вдохе, словно забивал невидимые гвозди. Надо было настроить энцефалограф, усилием воли Оленев заставил себя подойти к больной, закрепил датчики, сел за пульт монитора. Аппарат барахлил, шла наводка, самописцы мелко подрагивали и брызгали чернилами.

«Черт,— устало подумал Оленев,— скорее бы кто-нибудь пришел. Есть же неписанный закон, запрещающий

врачу лечить близких людей. Но разве она близка мне? Я даже имени ее не знаю».

— Документы какие-нибудь есть?

— Только проездной билет без фамилии.

Пришел нейрохирург, деловито приоткрыл веки больной, всмотрелся в зрачки.

— Что на энцефалограмме?

— Пока ничего. Наводка.

— Меня это не интересует. Исправьте погрешность.

— Какого черта!— вскипел Оленев и тут же осекся.

Сестры удивленно посмотрели на него. Он ни разу не срывался за все годы работы.

Он молча полез проверять заземление, убедился в надежности контактов, щелкнул переключателями, широкая лента бумаги поползла на пол.

— Не зовите Грачева,— сказала Мария Николаевна, на ходу приминяя колпачок.— Обойдемся без его советов.

Она сразу же включилась в работу, и Оленев облегченно вздохнул. Теперь непосильный груз ответственности за чужую жизнь лег на плечи поровну.

Они вместе настроили аппарат для гипотермии, струи охлажденной воды наполнили палату звуками ливня. Заглянул Чумаков, потрогал живот и сказал, что ему здесь делать нечего. А там время покажет. Забирали анализы, неслышно входили и выходили лаборантки, на соседней койке плакал ребенок, его некому было успокоить.

— Пойду покурю,— буркнул Оленев, чувствуя, что больше не в силах находиться в палате.— Я рядом.

Он вышел в коридор, постоял у окна, вытащил сигарету, размял ее, но так и не прикурил.

«Что это?— думал он.— Испытание на прочность? Очередная штучка Ванюшки? Но он обещал не вмешиваться в работу. Только в моей квартире он имеет власть и право делать все, что заблагорассудится... Не успев найти, уже теряю. Не успев полюбить, мо-

гу расстаться. Ну нет, я не остановлюсь ни перед чем».

Он сам не понял, как спустился в подземный переход и дошел до двери лаборатории. Толкнул незапертую дверь, зажег свет, хотя и без того было светло. Штативы загромождены немытыми пробирками и колбами, на столе в беспорядке разбросаны журналы и обрывки бумаги, исписанные торопливым почерком Грачева, а сам он лежал на раскладушке на спине, и лицо его было прикрыто простыней.

Оленев на цыпочках, чтобы не тревожить шефа, подошел к холодильнику, раскрыл его, вспыхнула лампочка. Среди черствых бутербродов с сыром и склянок с реактивами лежала пенопластовая коробка. Оленев бесшумно вынул ее, открыл и увидел то, что искал. На пенициллиновых пузырьках не было этикеток, но Юра знал, что именно в них дремала прозрачная, бесцветная и безвкусная жидкость — ребионит. Их должно быть десять — неприкосновенный запас Грачева, но два гнезда оказались пустыми.

Юра вытащил еще два пузырька, опустил в карман халата, закрыл футляр и нечаянно громко хлопнул дверкой холодильника. Вздрыгнул невольно, оглянулся на спящего Грачева. Тот не пошевелился. И тут ощущение душевной неприютности и тревоги с новой силой наполнило душу Оленева.

— Матвей Степанович,— тихо позвал он.— Уже день. Не пора ли?

Он знал, что Грачев часто остается в больнице на ночь, засиживаясь за опытами или потихоньку, пока дремали дежурные врачи, испытывая новые методики. А потом отсыпался в тишине, пока в нем не было нужды. Это давно стало привычным, но что-то насторожило Оленева. Грачев спал чутко и не мог не отреагировать на любое непрошеное вторжение в свои владения. Уж непременно бы проворчал что-нибудь или ругнулся спросонья.

— Привезли тяжелую больную,— сказал Юра вполголоса,— посмотрели бы...

Простыня не шевельнулась. Оленев, рискуя нарваться на окрик, откинул простыню с лица и увидел Грачева.

Рефлекс реаниматолога, вбитый годами практики, сработал мгновенно. Оленев рванул рубашку на груди Грачева, прикоснулся на миг ухом, нажал пальцем на сонную артерию и, не раздумывая, не тратя времени на поиски маски или салфетки, прижал свои губы к его губам и вдохнул воздух. Сильными ритмичными движениями несколько раз толкнул грудную клетку. Раскладушка прогибалась, Оленев опрокинул ее набок, быстро уложил Грачева на полу, руки и ноги шефа безвольно раскинулись по сторонам. Голова у Оленева была ясной и пустой, это было то время, когда стрелки часов замедляют свой бег и секунды растягиваются до бесконечности. Некогда думать и размышлять, надо действовать и работать. До седьмого пота, ибо оживление мертвых требует не только выдержки и знаний, но и сильных пружинистых, неутомимых рук, умения сконцентрировать силу и энергию в одном порыве.

Краешком сознания он пожалел, что некогда подойти к телефону и позвать на помощь. Чисто физические усилия требовали хотя бы двух человек, не говоря уже о моральной поддержке, о разделении ответственности за содеянное.

Должно быть, прошло не менее получаса, когда Оленев понял, что вдохнуть жизнь в Грачева не удастся. Он обреченно вытер пот со лба, скользнул взглядом по полу и тут увидел листок бумаги, на котором было написано: «Не оживлять! Я не умер! Это летаргия! Массаж сердца не делать!»

Дальнейшее Оленев помнил смутно. Скорее всего он позвонил в отделение, потому что лаборатория наполнилась реаниматологами и хирургами. Пришел профессор, что он там делал и говорил, Юра не запомнил.

Грачева увезли на каталке, а Оленев обнаружил себя сидящим за столом и листающим записи. Среди разрозненных отрывков он нашел толстую тетрадь, что-то вроде дневника, в котором по числам и часам описывались опыты с ребионитом.

«...Собака Икс, вес десять килограммов, клиническая смерть после введения пяти кубиков дитилина, экспозиция пять минут. Интубация, ИВЛ на фоне введения двух кубиков ребионита. Стойкий эффект через сорок пять минут. Период реабилитации двое суток... Собака Игрек, вес...»

И так далее, опыты, варианты, комбинирование методов и лекарств, дозы, рассуждения на полях. Грачев иступленно искал ту единственную формулу, сверяясь с которой любой врач сможет вернуть вспять необратимое. Он исполнил свое обещание, больше не прикасался к больным. Но что означало его ночное вторжение в хирургическое отделение этой ночью и просьбы к больным добровольно испытать на себе чудодейственное лекарство, дарующее жизнь? И почему он решился на такой шаг? Сам ввел себе ребионит... Живой, чувствующий, отчетливо понимающий, чем это грозит... Убежденность в победе, граничащая с фанатизмом? Последний аргумент в научном споре, уже переходящий рамки чистой науки?

Да, вот, кажется, то, что надо.

«Ребионит, введенный в здоровый, неистощенный организм, вводит его в состояние летаргии, полужизни-полусмерти. Это и есть тот самый анабиоз, о котором пишут фантасты, отправляя своих героев к далеким звездам. У меня нет другого выхода, я должен испытать его на себе. Не вините Веселова, я ему сказал, что у меня болит сердце, и подsunул заранее наполненный шприц. Самому ввести в вену не хватило духа. Доза рассчитана, я должен проснуться сам через три дня. Если не хотите моей смерти, не применяйте обычных методов реанимации. Никакой искусственной вентиляции легких! Никакого массажа сердца! Никаких ле-

карств! Расчеты и доказательства ниже. В случае неудачи письмо, адресованное жене, в нижнем ящике стола...»

Далее шли длинные формулы и пояснения к ним.

«Он прав,— подумал Оленев, прочитав и, по обыкновению своему, быстро уяснив суть решения Грачева.— А ведь сейчас там завертелась кутерьма!.. И я первый начал».

Оленев схватил тетрадку и побежал по гулким подземным переходам, не стесняясь удивленных взглядов.

В реанимации царила неразбериха. Для Грачева срочно освободили палату. Для этого пришлось перевести в хирургические отделения далеко не выздоравливающих больных. Только женщину, привезенную накануне, оставили в соседней палате, и респиратор по прежнему вбивал свои невидимые гвозди.

«Как там она?»— спросил он взглядом на бегу у медсестры, стоящей у входа в палату, и, уловив успокаивающий кивок, вбежал в соседнюю. Вокруг койки, как ночные бабочки вокруг свечи, теснились и кружились врачи и сестры. Сухой отчетливый голос Марии Николаевны давал распоряжения, профессора были прижаты к окну и, хоть молчали, но не уходили. Оживление умирающих — прерогатива реаниматологов, хирургам здесь делать нечего.

— Лишних попрошу выйти!— громко и спокойно сказала Мария Николаевна.— Тесно у нас. Сами знаете... Готовьте внутрисердечно.

Оленев не считал себя лишним, он сразу же протиснулся к койке, увидел Грачева, недвижно распятого на матрасе, размеренную суетню у его изголовья, Марию Николаевну, готовую недрогнувшей рукой вонзить длинную стальную иглу в грудь человека, и, не раздумывая, выбил шприц точным броском ладони. Звон разбитого стекла был почти не слышен.

— Что с вами, Юрий Петрович?— холодно спроси-

ла Мария Николаевна.— Вам нездоровится? Лучше уйдите. Мы без вас справимся.

— Не надо,— волнуясь, сказал Оленев,— не надо ничего делать. Он не умер. Он спит. Летаргия. Вы погубите его. Выключите респиратор.

Он сам не смог дотянуться до выключателя, поэтому рывком выдернул интубационную трубку из гортани Грачева и чуть ли не лег на него, защищая.

— Вы сошли с ума, Юрий Петрович,— сказала Мария Николаевна,— я прошу вас, выйдите. У нас каждая секунда на счету.

— Он жив!— прокричал Оленев.— Вы понимаете, он жив! К чему оживлять живого! Это же дикость!

Вечно сонный и уравновешенный Оленев и в самом деле производил впечатление свихнувшегося человека. По молчаливому знаку Марии Николаевны два крепких санитаря бережно взяли его под локти и попытались оторвать от койки.

— Почитайте его записи,— частил Оленев, больше всего боясь, что его не успеют выслушать.— Там ясно написано, что он ввел ребионит. Это не смерть! Это запредельная искусственная кома, летаргия, анабиоз! Он же вам, болванам, сколько доказывал! Дождались, да? Что еще ему оставалось делать?

— Сердце не прослушивается,— сухо сказала Мария Николаевна, протягивая руку за другим шприцом.— Дыхания нет. Зрачки расширены, арефлексия. Что еще вам надо? Убирайтесь отсюда, психопат! Потом поговорим о вашей пригодности к профессии...

Окрик Марии Николаевны, невозможный в любое другое время, подействовал на Оленева отрезвляюще. Он ослабил руки, но тут же вывернулся и забежал за изголовье койки, откуда достать его было не так-то просто, рискуя разбить вдребезги сложную электронную аппаратуру. В то же время именно отсюда Оленев мог помешать любым действиям врачей.

— Не пушу!— твердо сказал он и бросил в лицо

Марии Николаевне листок с последней запиской Грачева.— Это его воля. Его право! Он лучше всех знал, на что шел.

— Да, это его почерк,— спокойно сказала Мария Николаевна и передала листок по рукам,— но мы не можем взять на себя такую ответственность не делать ничего. Может, он был невменяем, как вы сейчас. И какое вы имеете отношение к этой истории? Не сам же он ввел себе этот яд? Где вы были вчера вечером?

— По-моему, не время допрашивать,— робко вмешался профессор.— Вы скажите прямо, есть шансы на спасение или это... конец?

— Если и конец, то не по моей вине,— бросила Мария Николаевна и демонстративно отряхнула ладони от несуществующих пылинок.

И тут Оленев ощутил прикосновение плеча к своему плечу. Это неизвестно откуда взявшийся Веселов встал рядом с ним и, нарочито беспечно почесывая щетину на подбородке, сказал:

— Да ладно вам митинговать. Оставьте шефа в покое. В кои-то веки не дадут человеку выспаться.

— О вашем ерничестве тоже поговорим позднее,— вскинулась Мария Николаевна и пошла из палаты.

Замерли сестры с наполненными шприцами в руках, продолжал гудеть респиратор, санитары отступили в глубь палаты, кто-то выходил, кто-то заглядывал испуганно и исчезал. Юра не смотрел ни на кого и, постепенно расслабляясь, все еще был полон решимости не допустить кого бы то ни было к Грачеву.

— Я и влупил шефу двадцать кубиков,— сказал Веселов, обращаясь неизвестно к кому.— Он говорит, сердце у него, мол, барахлит, кофия перепил, на-ка, дружок, шурани мне в вену. Я думал, так, обычный коктейль, то да се, как водится... То-то он сразу же глаза закрыл, ну и заснул, значит...

Профессор снял накрахмаленный колпачок, смял его в руках и, постояв у изножья, вышел из палаты.

На лице его были запечатлены все грядущие кары господни.

Растолкав сестер, к Оленеву подошел Чумаков. Он, наоборот, поглубже нахлобучил шапочку, хмуро шмыгнул носом и спросил:

— Вы что, мужики? Тут его жена пришла. Бойтся заходить. Это правда?

Оленев ничего не ответил, а Веселов сказал:

— Сам не видишь, Никитич? Жив и почти здоров наш чудик. Ты что, мертвецов ни разу не видел?

— Действительно,— согласился Чумаков,— не похоже. Потому и шапки не снимаю. Черт знает, что творится в этой клинике! Час от часу не легче. Так что, звать жену?

— Зови,— тихо сказал Оленев.— Скажи, что Матвей Степанович жив и скоро проснется. Через три дня. Главное — не лезть к нему с нашими методами.

— Это он так решил или ты?— посомневался Чумаков.

— Он,— ответил Оленев и добавил через паузу:— И я тоже.

— Ага,— присоединился Веселов.— Я-то первый.

— Кто был первым, будет последним,— мрачно изрек Чумаков.— Пиши заявление, парень. По собственному.

— А я что, я ничего. Реаниматологи везде нужны.

— И в тюрьме работенку сыщут,— добавил Чумаков.

Оленев не трогался с места, вцепившись пальцами в спинку кровати. Тихо передвигались сестры, отключали аппаратуру, мыли шприцы, кто-то прикрыл Грачева простыней с головой, Оленев машинально откинул ее с лица. У Грачева было спокойное выражение, и только углы рта напряжены, словно готовился сказать что-то резкое или упрекнуть кого-то.

В палату зашла женщина в накинутом на плечи халате. Сотни раз Оленеву приходилось говорить родствен-

никам горькие слова правды, делать то, чего невольно избегал любой врач, ибо невыносимо больно не только убеждаться в своем профессиональном бессилии, но и открывать истину перед близкими людьми, всегда несправедливую и безжалостную.

Жена Грачева тоже была врачом, терапевтом, но это лишь усложняло дело. Здесь нельзя обойтись простым, хоть и искренним утешением, она сама все знала и понимала.

Слов не было. Оленев, не покидая своего места, отвел взгляд, Веселов нырнул под кровать и по-мышинному завопил там, отцепляя заземление.

Оленев даже не помнил, как зовут жену Грачева, она никогда не появлялась у них в отделении, да и работала в соседней больнице, а сейчас, должно быть, ее срочно привезли на попутной «скорой», и халат с чужого плеча свисал неглаженными складками на колени. Она молча села на койку рядом с мужем, провела ладонью по его небритой щеке и тихо сказала:

— Все хорошо, Матвей. Ты поспи. Я подожду.

— Он не умер,— выдавил Оленев.— Это анабиоз.

— Я знаю,— просто сказала женщина.— Я прочитала его записи.

— Вы верите?

— Конечно. Он ни разу не обманывал меня.

Это было сказано так естественно, словно речь шла о мелких хитростях, вроде звонка по телефону: «Не беспокойся, дорогая, я задержусь на собрании». Веселов неслышно выполз с другой стороны кровати с мотком провода в руке, встал за спиной женщины и устало подмигнул Оленеву.

«Все в порядке, старик,— говорил его взгляд.— Наша возьмет. А теперь лучше выйти».

— Извините,— сказал Юра жене Грачева, невольно склоняя голову перед ней.— Я сейчас приду. Я его не покину. Это я... настоял. Так надо.

— Я знаю. Идите, я посижу.

Вслед за Оленевым по одному выходили остальные. Хорошо смазанная дверь неслышно открывалась и закрывалась.

— Дай закурить,— тут же попросил Веселов шепотом.

— Сейчас нам дадут прикурить...— сказал Оленев, машинально протягивая сигареты.— Света белого не взвидим.

Из-за дверей ординаторской шумела разноголосица. Громче всех выделялся голос Марии Николаевны. Слов не разобрать, но и без того все было ясно.

— Пять лет расстрела через повешение,— плоско пошутил Веселов.— Во денек, а? Ну ладно я, с меня взятки гладки, с шутов и дураков всегда спрос меньше, А ты-то что встрял, тихуша? Сидел, помалкивал, книжки листал, очки протирал, а тут как тигр кинулся! Где белены-то взял? Еще не вызрела, поди?

А Оленев думал о том, что Вовка Веселов все-таки замечательный парень, не струсил, не ушел в кусты, первым признался, что ввел ребионит, хотя никто за язык не тянул. Ну а с ним, с Оленевым, разговор будет особый... Ведь именно он первым нарушил запрет Грачева — начал реанимацию, не увидев записку, но ведь любой другой на его месте начал делать то же самое. Такой уж рефлекс у реаниматоров — как у ковбоев, сначала стреляешь, а потом думаешь... И еще он подумал о том, что ребионит был введен ночью, а он пришел в лабораторию в час дня или около этого, и выходит, что все действия были абсурдными. Но отчего же он, а потом и все остальные действовали так, как будто смерть произошла только что? Будто впереди те самые шесть минут, когда еще можно вернуть жизнь?

«Да что же я голову ломаю? Ведь он и в самом деле не похож на мертвого. Ни тогда, ни сейчас... Сначала убеждал других, а теперь приходится доказывать самому себе... Ей-богу, белены объелся».

Он приобнял Веселова за плечи, коротко, но сильно прижался своим плечом, отстранился.

— Пойдем, что ли?

— Знаешь что, тихоня,— сказал Веселов, гася окурок о подошву.— Я иду первым и принимаю огонь на себя. А когда они измочалят об мою голову критические дубинки, тогда и ты влезай в свару. Небось меньше достанется.

— Нет, пошли вместе.

— Не дури,— сказал Веселов и натянул колпачок на глаза Оленеву.— Зайди лучше в соседнюю палату. Совсем забыли о нашей пациентке.

И мягко, но сильно подтолкнул Юру к дверям палаты. Хлопнула дверь ординаторской, на секунду донесли громкие голоса. Что-то вроде: «Ага, вот он, голубчик...»

Оленев помедлил, одернул халат, поправил сползшие очки и зашел в палату.

Медсестра что-то вводила в вену, подняла голову и, не дожидаясь вопросов, коротко сообщила все, что было нужно.

Оленев сел у монитора, пошуршал широкой бумажной лентой, исписанной замысловатыми для непосвященных кривыми, полистал историю болезни, успевшую разбухнуть от консультаций узких специалистов, дневников, анализов. Нашел запись нейрохирурга: «...данных за гематому нет».

«Значит, не все потеряно. Костьми лягу, но вырву...»

Подошел к респиратору, скорее для вида, а сам пристально вглядывался в лицо незнакомки, неподвижное, бледное, с закрытыми глазами.

«Прости,— мысленно сказал Оленев,— прости, что не встретил тебя раньше. Моя первая, единственная. Без имени... Как ты жила раньше? Я помню, тебе было плохо. Еще вчера. И утром, в автобусе, разлучившем нас. Не навсегда, нет. Все впереди».

Цепь совпадений не пугала его, не путала, не вноси-



ла сумятицу в привычную ясность мышления. Время для Оленева никогда не текло линейно и однородно. Он представлял его в виде тугой струи, пронизывающей пространство, то текущей ровно и прозрачно, то завихряющейся узлами, вплетающей в себя людей и события в самых непостижимых сочетаниях. И то, что лишь вчера наступил День Договора, а сегодня лавина непредвиденных событий обрушилась на Оленева, еще ничего не значило. Время непостижимо, как сама Вселенная, и предсказывать будущее берутся далеко не самые мудрые люди.

Мудрее и сложнее казалось для Оленева предсказывать прошлое.

Реставрировать ушедшее навсегда, в никуда, по обрывкам и обломкам, восстанавливать рухнувшее здание без чертежей и фотографий, ясно и четко представить себе извилистый путь человека из вчера в сегодня, ведь завтра может и не наступить.

Бесконечно долгод век человека, уничительно короток он, тупики и разъезды, сожженные мосты, опаленные крылья, опустошенные души, надежда и отчаяние, переплетение судеб, непосильная ноша, хмельной полет над облаками, вечное стремление отдалиться от полуночи в сторону рассвета, ожидание солнца, которое вот-вот выглянет из-за горизонта, согреет лес, травы, разгонит туман, возродит день и новую жизнь...

Вот и сейчас, сидя у изголовья больной, прислушиваясь к ровному гуденью приборов, следя за ритмичными всплесками кардиограммы, Оленев не мог спокойно и отстраненно смотреть на лежащего перед ним человека, как на невероятно сложный, но почти познанный набор белковых веществ, электролитов, воды, энергии, мерцающей в нейронах, бегущей по ниточкам нервов и неслышно управляющей телом и духом человека.

Ему всегда казалось, что Грачев, знающий практически все о таинствах человеческого тела, никогда не задумывается именно об этом — что перед ним не про-

сто вышедший из строя организм, а живой, страдающий, верящий и отчаявшийся человек, прошедший долгий путь перед тем, как оказаться на койке в палате реанимации. Он знал это, но, не умевший никого осуждать, смотрел на Грачева спокойным и равнодушным взглядом.

И только теперь, ощутив переворот в своей душе, он ужаснулся той пустоте, которую привык именовать мудростью, равномерным восприятием добра и зла. Он понял, что двадцать лет своей жизни именно он, Юрий Оленев, пребывал в анабиозе, бесчувственном и бессмысленном, как в долгом полете через космическое пространство, и вот он ожил и видит перед собой Землю, породившую его, и начинает вспоминать детские годы, когда умел любить, страдать, ждать и надеяться.

Он понял, что, несмотря на неисчисленные знания, практически ничего не знал и в слепоте своей брел наугад с глазами, обращенными внутрь.

Грачев, аскет и фанатик, решился на непредвиденный шаг, и значит, все общепризнанные суждения о нем оказались лживыми и несправедливыми.

Веселов, пустышка и говорун, отмеченный, как родимым пятном, даже своей фамилией, тоже повернулся неизвестной стороной — мужчиной, умеющим взять на себя ответственность за совершенный поступок.

Да и сам он обнажил сегодня свою сокровенную суть, о которой не ведал или просто забыл.

Узкое обручальное кольцо поблескивало на левом безымянном пальце женщины, незаведенные часики давно остановились, стрелки их сошлись на цифре двенадцать. И перед Оленевым вдруг зримо, как в кадрах неизвестно кем снятой кинохроники, то мелькающих неразличимо, то растянутых на годы, прошла жизнь этой неизвестной женщины. И это была не привычная утренняя игра в автобусе, о которой забываешь легко и беспечно. Оленев сам жил в чужой непридуманной жизни, шел к этой женщине через ее детство, юность, зрелость

в параллельном стеклянном коридоре, и в конце он услышал звон разбитого оконного стекла, короткий крик. Их судьбы сомкнулись, переплелись, чтобы уже не размыкаться до конца.

«Я люблю тебя,— мысленно сказал он,— я люблю тебя, моя Вера, Надежда, Любовь. Я спасу тебя».

— На выход!— сказал Веселов, хлопнув по плечу.— Начало второго действия. Грим не в порядке, костюм из другой пьесы, роль позабыл, суфлер пьян, режиссер спятил, зато драматург гениален! Третий звонок, господа актеры, прошу на подмостки!

— Жив?— спросил Оленев, поднимаясь.

— Во!— поднял большой палец Веселов.— Такие щепки летели! Любо-дорого смотреть. Начальства не бежало! Всяк со своей идеей. Когда меня казнят, Юра, передай последнюю волю — пусть отдадут мое грешное тело на возлюбленную кафедру анатомии. Пускай салажата об меня скальпели тупят. А тебя решили обмазать дегтем, обвалить в перьях и выставить в актовом зале в назидание, чтоб с армейским уставом в монастырь не лез. Заходи!

И, распахнув дверь ординаторской, церемонно поклонившись, представил Юру собравшимся.

Рядовых врачей отделения здесь не было. Как всегда, когда заваривались каша, сознавая свою ненужность, они расходились кто куда. И правильно делали. Оставалась только Мария Николаевна, оба профессора, больничная администрация и кое-кто из вышестоящего начальства.

— Если не ошибаюсь, это вы первым обнаружили Грачева в состоянии клинической смерти?— спросил профессор.— Расскажите подробнее.

Оленев, не волнуясь и не торопясь, под строгими взглядами, описал все, как было.

— А как вы оказались в лаборатории?

— Привезли тяжелую больную...— начал Оленев и хотел было честно добавить, что пошел за ребионитом,

но профессор счел ответ исчерпывающим и задал новый:

— И, самое главное, почему вы взяли на себя непосильную ответственность, почему помешали действиям коллег? Ведь рядом были опытные товарищи.

— Вообще-то, это на него не похоже,— вмешалась Мария Николаевна.— До сегодняшнего дня я ничего плохого сказать не могу об Юрии Петровиче. Грамотный, опытный реаниматолог, чрезвычайно уравновешенный. Может, у него какое-нибудь личное потрясение?

— Какое это имеет значение?— поморщился мало знакомый, но вышестоящий.— Если врач допускает ошибку, то его личное самочувствие в расчет не принимается. Нездоровится — скажи об этом честно. В конце концов, на более позднем этапе могли обойтись без него.

И тут нашла коса на камень. Кастовая гордость реаниматолога взыграла в душе Марии Николаевны, в своем отделении она могла без обиняков высказать все, что считала нужным, но когда кто-либо начинал обвинять ее коллег, она смело бросалась в бой. Оленев невольно стал не только подсудимым, но и подзащитным. Он стоял, слушал, отвечал односложно, если спрашивали, а сам думал о том, что весь этот спор уже равно ни к чему не приведет. Обычная история — случилась беда, и нужно найти виновного. Найти и наказать. Будто бы этим можно исправить непоправимую ошибку. Ну ладно, влепят им с Веселовым по выговору, предложат уволиться с глаз долой, но почему-то все говорят о судьбе Грачева как о чем-то решенном и законченном. Ведь он еще жив, а его похоронили заживо.

— ...вскрытие покажет, когда наступила смерть и по какой причине,— донеслась до Оленева чья-то фраза.

— Извините,— перебил Оленев,— я не понимаю, о каком вскрытии идет речь. Грачев не умер.

— Вот как?— вскинулся профессор.— И это говорит опытный реаниматолог?

— Вы читали его дневник?

— Читал. Как это ни печально, но своей жизнью Грачев доказал абсурдность применения так называемого ребинита. Это большая трагедия, и наша общая вина, что мы не смогли вовремя остановить его. Надо было запретить любую деятельность в этом направлении, изъять документацию, отправить, в конце концов, Матвея Степановича на психическую экспертизу. Да, это жестоко так говорить о мертвом, но он был явно не...

Профессор, видимо, не мог подобрать более деликатного слова, и Оленев снова перебил его.

— В дневнике все ясно и логично доказано. Пусть этот спор решают не хирурги, а узкие специалисты. Грачев жив, и я лично беру на себя всю ответственность и не позволю относиться к нему как к умершему. Если вы будете настаивать на своем, то именно вы окажетесь преступником.

Подобные резкости в разговорах с профессорами мог позволить себе только Чумаков, к этому давно привыкли, но чтобы Оленев, рядовой врач второй категории, полусонный тихоня, всегда обходящий острые вопросы стороной, вступил в спор... В ординаторской замолчали. Из открытого окна донеслось пение малиновки, поселившейся в больничном парке.

— М-да,— поморщился вышестоящий.— Субординация у вас на высоте.

Мария Николаевна хотела что-то сказать, но в это время дверь в ординаторскую открылась, и вошла жена Грачева.

— Извините,— сказала она,— но здесь, кажется, решается судьба моего мужа? Почему вы не спросите моего мнения? По закону и по совести мое слово должно быть решающим.

— Отчего же,— смутившись, сказал профессор,— конечно, вы правы. Ваше право подать в суд на виновников, ваше право простить их. Но мы должны вынести свои решения, чтобы впредь подобного не повторялось.

— Да, конечно... Я в курсе всех работ моего мужа и считаю, что это вы довели его до отчаянного поступка. И если мой муж умрет, то я подам в суд не на этого доктора,— она кивнула на Оленева,— а на тех, кто тормозил работу мужа. Он просил вас о создании условий, вы же отвернулись от него. Он был уверен в своей правоте, иначе бы не решился на такой шаг. Он жив, и говорить о нем как о мертвом я не позволю.

В ординаторской снова замолчали. Тишина была тяжелой, давящей, люди отворачивали взгляды, профессор помрачнел, лицо его покрылось красными пятнами.

— Я не понимаю,— сказал вышестоящий,— на чем основано ваше убеждение, и не только ваше, но и этого молодого человека? Насколько мне объяснили, Грачев уже...

— Это не входит в вашу компетенцию!— резко сказал Оленев.— Вы уже давно не врач, а просто администратор. Грачев сделал открытие, способное перевернуть все наши понятия о реанимации, но, чтобы доказать свою правоту, ему пришлось рисковать собственной жизнью. Да, он жив! И все наши обычные критерии смерти в данном случае лживы.

— Ну знаете...— протяжно выдохнул воздух вышестоящий.— Это ни в какие рамки не лезет. Вы что, пьяны? Все данные говорят о биологической смерти.

Профессор молча развернул на столе широкую ленту энцефалограммы. Длинные прямые линии без единого всплеска прочерчивали ее от начала до конца.

— Температура тела 32 и 5. Сердечная деятельность остановлена. Дыхания нет. Что еще вам нужно?

— Анализы,— твердо сказал Оленев.— Кислотно-щелочное равновесие, электролитный баланс, ну и все остальное. Я уверен, что они совпадут с расчетами Грачева. Это не биологическая смерть, а клиническая.

— Хорошо, мы посоветуемся. Выйдите и примите что-нибудь успокаивающее.

— Независимо от вашего решения своего я не изменю.

Только за дверью он понял, что страшно устал. Не так давно он мог переносить практически любые перегрузки, не спать по нескольку суток, пробежать десять километров без одышки, выстоять в любом споре со смертью, а сейчас сердце колотилось о ребра, испарина покрыла лоб, не хватало воздуха. Веселов маячил рядом, перекидываясь шутками с медсестрами.

— Ну, как судилище?— весело спросил он, вытирая руки о мятый халат.— Сколько ведер вошло в клистир?

— Посиди с Грачевым,— сказал Оленев.— Не подпускай к нему никого, кроме лаборантов и жены. А я выйду во двор. Душно здесь.

— Никаких проблем! Дыши, я побуду цепным псом, Полаю, покусаю и в дом не пущу.

Середина июня накатывала на город долгими днями, желтой пылью одуванчиков и вот-вот готовыми проклюнуться зелеными яйцами тополиных сережек, чтобы наполнить воздух и землю душным и теплым пухом.

«Пора давать плоды,— думал он, сидя на скамье и вдыхая полной грудью воздух.— Пришла пора отдавать долги. Как я жил раньше? Растительная слепая жизнь, покорность обстоятельствам, бездумное восприятие мира таким, каков он есть, нежелание и неумение изменить что-либо... Что ж, искать так искать и драться до последнего».

Сначала он не обратил внимания, что кто-то сел рядом. Может, кто-нибудь из больных, бесцельно убивающих время от обеда до ужина, может — чей-нибудь родственник.

— Вас зовут Юрий Петрович?— услышал он женский голос и, вздрогнув, поднял голову.— Спасибо вам.

Это была жена Грачева. Юра не знал, что ответить, и просто молча кивнул головой.

— Они вынесли решение.

Юра сжал зубы, готовый ко всему.

— Решили пока ничего не предпринимать. Анализы

забраны. Как я знаю, вы лучше всех осведомлены о работе моего мужа и верите в его правоту. А я верю вам. Отдохните, я все равно не уйду отсюда.

— Нет,— мотнул головой Юра,— никто, кроме меня, не справится. О ребионите я знаю больше, чем кто-либо другой, даже ваш муж.

— Он никогда не говорил о вас. Впрочем, у него такой характер...— она замолчала, словно извиняясь за мужа.

— Это неважно. Во всем случившемся виноват я. Это я подsunул ему древний рецепт. Если бы знал, чем это может кончиться...

— Я вас не виню. Матвей не мог поступить иначе.

На больничное крыльцо, обрамленное старомодной балюстрадой, вышла Мария Николаевна. Щурясь на солнце, она отыскивала взглядом Оленева, молча кивнула и так осталась стоять, словно не решалась ни позвать Юру, ни подойти самой.

— Извините,— сказал Юра и сам пошел навстречу.

— Юра,— просто сказала Мария Николаевна,— сейчас не время для ссор и диспутов. Я не верю в чудеса, но это мое личное мнение. Так вот, я настояла на том, чтобы Грачева оставили в покое. Контроль и наблюдение возлагаю на тебя. Придется остаться на ночь. Я тоже остаюсь. Позвони домой, предупреди. Сейчас все разъедутся, поговорим после.

И Мария Николаевна, развернувшись на каблуках, как вышколенный солдат, четким шагом пошла к двери. Преданный солдат реанимации — странной науки об оживлении мертвецов.

Юра стянул халат, сложил его, взял под мышку и пошел за территорию больницы к ближайшему телефону-автомату. Его догнал Веселов.

— Изгнанник рая,— гордо сказал он.— С демонической силой меня вышибли из обители блаженных, повергли наземь, оттяпали крылья без наркоза и даже на пиво не дали. Во житуха, а?

— На, блаженненький,— в тон ему сказал Юра и протянул горсть мелочи.— Помолись за меня... Кто остался с Грачевым?

— Машка. Хоть и стерва, но своих в обиду не даст. Уважаю.

— Не ожидал от тебя. Сколько лет знаю, а такого... Ты же сам был противником ребионита. Забыл?

— Протри очки, везунчик. Мужик тем и отличается от амебы, что не болтает, а делает поступки и умеет признать свою неправоту.

— Никогда не видел болтливых амеб... Впрочем, ты прав.

К телефону подошел отец.

— Квартира,— сказал он, не дожидаясь вопроса.

— Папа?

— Это не Ватикан. Это квартира.

— Отец, это я, Юра. Ты не болен?

— Свинка-ангинка-минтая спинка,— хихикнул отец.— Заходила Лера, чума и холера.

— Она уехала в лагерь? Ты ее проводил?

— Муж ее проводил. Кандидат докторских наук или доктор по кандидатам в мастера. А вы кто такой?

— Юра я, твой сын. Сегодня я не приеду, остаюсь дежурить. Не беспокойся. И передай Марине, если она дома.

— Субмарине? Когда уставшая подлодка из глубины придет домой? А кто вы такой?

— Папа,— вздохнул Юра.— Береги себя, не выходи из дома. Я позвоню вечером.

Он опустил трубку на рычаг и хотел было отойти, как вдруг телефон разразился звоном. Машинально снял трубку автомата.

— Да?

— Да и нет не говорить, губы бантиком не делать, не смеяться, не смешить,— скороговоркой проговорил Ванюшка.— Привет, плешивый вундеркинд! Ищешь?

— Пока только тумачков по шее надавали за поиски. Куда опять мою дочку дел?

— Очередной запуск в будущее. Художница. Укатила с мужем на пленэр, а может, на пленум. Делает революцию в живописи. Заслуженная. Лауреатка.

— Чаю надулся?— зло спросил Юра.

— От пуза.

— И как не лопнешь!— сказал Оленев и бросил трубку.

По дороге в больницу его догнал Ванюшкин голос, раздавшийся из левого кармана.

— Не шали,— сказал он приглушенно.— Нарушишь Договор — пеняй на себя.

Больница опустевала, дневные врачи и сестры расходились по домам, больные разбредались по парку. В первой палате реанимации гудели аппараты, плакал ребенок, неслышно передвигалась дежурная сестра, позвякивая шприцами. Во второй, где лежал Грачев, было непривычно тихо, как после генеральной уборки, когда в надраенной до блеска палате включают кварцевые лампы и закрывают ее на ключ... Научно обоснованный ритуал очищения, избавления от скверны...

Кое-какие анализы уже были готовы, стараясь скрыть волнение, Юра вчитался в скупые цифры. Да, все совпадало с расчетами и экспериментальными данными Грачева. Непостижимая купель полусмерти-полужизни, в которую был погружен Грачев, ломала все представления, вековые и незыблемые, о той грани, что разделяет живое существо и неживое вещество.

Мария Николаевна стояла у окна, делая вид, что любит парк, отцветающими яблонями и птицами, порхающими меж них. И Оленев мысленно поблагодарил ее, что она не вмешивается в то, что сама уже не в силах понять, что она молча уступила лыжню ему, более молодому и менее опытному, совсем не потому, чтобы переложить на него непосильный груз, а оттого, что честно признала свою некомпетентность и невольную стереотип-

ность мышления, приходящую с годами работы. И само это признание, пусть глубоко запрятанное, значило так много, что впору было или честно подать заявление об увольнении, или, мучительно переборов самолюбие, перейти на следующий, более высокий круг. Кризис, который редко кому удается миновать.

Ближе к ночи состояние Грачева стабилизировалось, если, конечно, прибегать к привычной терминологии. Сверяясь с записями, графиками, показаниями анализов, Оленев вел свой собственный дневник — это условие было оговорено в завещании Грачева. Не упустить ни малости, даже ценой жизни, ради тех, кто будет спасен после, вырван у смерти, в вечной битве человека с неизбежным приходом небытия.

Они молча пили чай в ординаторской, жена Грачева, осунувшаяся и подурневшая, тоже была с ними, ее присутствие тяготило, но на вежливые намеки Марии Николаевны пойти и отдохнуть она твердо, но словно извиняясь, отрицательно качала головой.

По привычке заглядывали дежурные хирурги, пытались завязать обычные разговоры, натянуто шутили, но быстро замолкали и уходили. Летняя ночь была светла и протяжна, малиновку сменил соловей-красношейка, из глубины парка доносилась его короткая громкая песня.

Негласно они разделили обязанности. Оленев следил за Грачевым, Мария Николаевна занималась больными в первой палате. Юра все время порывался зайти и туда, выискивая повод, мельком, но внимательно вглядывался в больную, по-прежнему неподвижно лежащую на спине, окидывал беглым взглядом данные аппаратуры, анализы. Что-то настораживало его, хотя сердце исправно гнало кровь, давление держалось, угроза отека легких миновала, а вовремя начатая гипотермия надежно защитила мозг. Так или иначе, должно было пройти не менее суток, когда можно сказать наверняка...

Главное — продержаться, пережить кризис и успеть заметить возможное осложнение. Неожиданностей было много. В реанимации никогда не стоит давать себе и тем более другим долгосрочные прогнозы. Быть может, все резко переменится в ту или иную сторону, и, пожалуй, высшее мастерство врача заключается именно в этом умении, подчас необъяснимом, предвидеть и предсказать то, что случится с больным через час, через день. Предвидеть и принять меры.

Несгибаемая Мария Николаевна не показывала ни малейшего признака усталости и по всей видимости собиралась бодрствовать до утра, а сам Оленев то и дело присаживался в кресло, вытягивал ноги, прикрывал глаза и по старой привычке представлял себе бесконечную равнину пустыни, барханы изжелта-розовые, три низких, один высокий, как четырехдольник в стихах, как ненавязчивая, умиротворяющая мелодия, растянувшаяся до горизонта, сливающегося с мутным, песочного цвета небом. Тогда он воображал себя птицей, парящей над пустыней в такт барханам, чуть выше, чуть ниже, песня без слов из одних гласных, закрытым ртом — растворение, расслабление, безмыслие, полный и абсолютный отдых, недоступный даже сну.

Он сидел во второй палате, наедине с Грачевым, медсестра вышла, из открытого окна несло прохладой. Оленев летел над песками, воздух топорщил перья, кто-то внизу поднял ружье и выстрелил.

Он не сразу понял, что это Веселов, топнув ногой по жестяному подоконнику, влез в окно и спрыгнул на пол. Машинально посмотрел на часы, было четверть четвертого утра.

— Час Быка, — невозмутимо сказал Веселов, отряхиваясь. — Чего, думаю, дома сидеть, чай гонять. Все равно скоро на работу.

— Тебя же выгнали.

— Выгоняют только самогонку из бражки. Сказал же — час Быка. Рассвет на носу, того и жди бедствий

и мировых катаклизмов. Машка там? Ну и ладно. Как тут делишки?

Оленев вкратце рассказал, что к чему.

— Ясненько,— сказал Веселов, приглаживая нечесанные лохмы.— Ждешь событий?

— Жду.

— Тебе виднее, тихуша. Сколько лет вместе работаем, а ни черта друг о друге не знаем. Это норма, да?

— Наверное,— неуверенно сказал Юра.

— Угу,— беспечно подмигнул Веселов.— Отсюда и сюрпризики. Чем помочь, а?

— Не нравится мне наша утренняя больная. Вроде бы все в норме, а...

— Чуешь, значит? Это бывает. По себе знаю. А иногда и обманывает чутье. Машке, что ли, не доверяешь?

— Кому еще, как не ей?

— Ну да, мы все через ее железные руки прошли. Воспитанники, выученики, мученики. Пыточная камера — или кости переломают, или без носа оставят. Или с носом, тоже не слабо. Грачев-то... Впрочем, о покойниках или хорошее, или ничего.

— Ты это всерьез?

— Слушай, когда я говорил всерьез? Только по утрам, когда душа пива жаждет.

— Ты ведь и пьяница понарошке. Куражишься, маешься, наговариваешь на себя черт знает что. Маскарад. Сегодня маску сдернул, а под ней, как в плохой комедии, другая маска. Кто ты, Веселов?

— А ты кто, везунчик? Может, пришелец, а?

— Не знаю,— честно сказал Оленев,— пришелец, ушелец, кабы знал, сказал. Мне скрывать нечего.

— Это тебе-то?

Веселов расположился на широком подоконнике, курил, пуская дым в открытое окно, болтал ногами, скреб небритый подбородок, а потом вдруг замер в нарочито драматической позе и поднял вверх указательный палец.

В кармане Оленева звякнуло стекло. Он опустил туда руку и нащупал пузырьки. За день он успел забыть о них. Ребионит. Лекарство, ведущее к жизни через очищение смертью.

— Чуешь? — театрально-сдавленным голосом спросил Веселов. — Там что-то неладно.

В соседней палате изменился привычный стукоток респиратора, негромкий, отчетливый голос Марии Николаевны давал краткие указания, забегали сестры.

— Я пойду, — сказал Оленев, — а ты лучше отсидись в парке. Тепло, не замерзнешь.

— Я свое отсижу, не беспокойся.

— Зачем вы покинули Грачева? — сухо спросила Мария Николаевна, переходящая в такие минуты с «ты» на «вы».

— Там все стабильно. Что у вас?

— Давление падает. Скорее всего, центрального генеза.

За скупой фразой Оленев прочитал так много, что ему стало по-настоящему страшно. Это означало, что центр в продолговатом мозгу, отвечающий за артериальное давление и деятельность сердца, нарушился, пошел вразнос, и если не принять экстренных мер, то... Он хорошо знал, что делается в таких случаях, в действия Марии Николаевны не вмешивался, все было правильно, выверено многолетней практикой, учтены последние монографии, статьи в журналах, но все это изобилие знаний, опыта, мастерства и решительности в конечном счете должно было привести к провалу. Рано или поздно.

— Не надо, — тихо сказал Оленев. — Я очень прошу вас, не надо.

— Что?

— Обычных методов применять не надо. Мы так не спасем.

— Еще один Грачев?

Вопрос был двусмысленный, но отвечать на него надо было однозначно.

— Это... моя родственница. Я имею право решать. Пока не поздно. Помните, Грачев вводил ребионит умирающему ребенку? Его последние эксперименты доказали, что существует четкая грань, когда еще не поздно. Анабиоз спасет ее. Даст время и больной, и нам справиться. Через час будет поздно.

— Не надо мне врать, Юрий Петрович. Какая еще родственница? За весь день ее никто не искал.

— Я знаю. А что молчал, так простите — есть личные причины.

Мария Николаевна была железной женщиной, но все-таки женщиной. Оленев рассчитал правильно.

— Всегда считала вас образцовым семьянином. Ну ладно, ваша личная жизнь меня не касается, но за больных в отделении все-таки отвечаю я.

— Разделим пополам. Страшно?

Мария Николаевна недоуменно взглянула на Оленева, как на человека, выскочившего на балкон голым на виду у многочисленной толпы.

— Ваши доказательства? Научно обоснованные. Предположим, что наши классические методы к успеху не приведут. А ваши?

— «Ваши», это как? Мои и Грачева? Или это просто вежливая форма?

— Понимайте как знаете. Но возьмите ручку, бумагу и докажите. Сколько вам понадобится времени?

— Четыре минуты.

— Даже так? Засекать на часах?

— Засекайте.

Дописывая последний листок, Оленев подумал, что он нарушает Договор, вернее, один из его пунктов — не выделяться из среды обычных людей, не показывать свои почти безграничные возможности проигрывать миллионы вариантов решений со скоростью и точностью компьютера.

Запах крепкого чая, заваренного с лепестками жасмина, поплыл из левого кармана халата. Оленев сжал

пузырьки с ребионитом, боясь, что они сейчас исчезнут, трансмутируются, превратятся в неведомого Печального Мышонка из дочкиной сказки.

— Все,— сказал он.— Формулы, выкладки, ближайшие прогнозы при разных вариантах наших действий.

Мария Николаевна перелистала листки, похоже было, что она даже не вчитывалась в написанное. Это уже не имело никакого значения.

— Никогда не подозревала у тебя таких способностей, Юра,— сказала она, неторопливо складывая листки вчетверо и пряча в карман.— Ну и денек сегодня... Что ж, цель медицины — использовать любые шансы, даже безумные. Безумные на сегодняшний день. Похоже, что ты, как и Грачев, жил завтрашним.

— Спасибо,— тихо сказал Оленев и вытащил из кармана неприглядные пенициллиновые пузырьки с прозрачной жидкостью.

Она не уходила, а просто села в дальний угол, словно подчеркивая, что, несмотря ни на что, ответственность за содеянное она намеревается разделить поровну.

Неторопливо, по привычке рассчитывая каждый жест, Юра отключил респиратор, прекратил подачу охлажденной воды в аппарат для гипотермии, сам набрал в шприц ребионит — двадцать кубиков — трехдневная доза, и медленно, недрогнувшей рукой ввел его в вену.

Тишину разорвала сирена монитора — остановка сердца! Юра нажал красную кнопку, громкий писк, граничащий с ультразвуком, прекратился, по бумажной ленте поползли ровные линии. Наступила клиническая смерть...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

К началу рабочего дня Оленев подготовил сжатый доклад. Уже не стоит описывать ни шум в зале во время планерки, ни реплики с мест, ни сдержанные угрозы профессора, ни молчаливые слезы жены Грачева. Ему

было ясно дано понять, что в случае проигрыша надеяться на милость не придется. А если он выиграет, если больные выйдут из анабиоза и не просто выйдут, а выживут, выздоровеют и будут такими же нормальными людьми, как до этого, то и награды и лавры тоже не украсят его. Пусть победителей не судят, но и не всех осыпают розами, лишь молча прощают риск и говорят, с ухмылкой покачивая головой: «Ну и повезло тебе, парень. Из такой заварухи выкарабкался...»

Веселов нахально сидел в первом ряду, небритый, в нестираном халате, покачивал ногой и нагло подмигивал профессорам.

— Иди поспи часок,— сказал он Оленеву после планерки.— Раскладушка шефа свободна. Тебе уж не буду вводить оживитель. Пуганая ворона, сам знаешь, чего боится.

Оленев не собирался спать, но подумал, что посидеть в одиночестве хотя бы час просто необходимо. Он попросил Веселова дать ему знать при малейшем изменении ситуации и пошел в лабораторию.

Он нашарил ключ в углублении над косяком, на ощупь открыл дверь и очутился в темноте.

Включатель должен быть где-то справа, на стене, рука бесцельно ощупывала шероховатую поверхность, струйка воды скользнула вниз по запястью. Тогда Оленев чиркнул спичкой и увидел, что это не лаборатория.

Вернее — лаборатория, но не та.

Это была большая комната со сводчатым потолком, уходящим в темноту, короткий лучик высветил потухший камин, огромный стол, заваленный ретортами и книгами, тигли, чучело крокодила, прибитое к стене, высушенную ящерицу с пришитыми крыльями летучей мыши... Спичка погасла. Воздух явственно отдавал запахом серы.

— Ты здесь?— спросил Юра темноту.

Темнота пошамкала и разразилась в ответ старческим кашлем.



— Зажег бы свет,— попросил Оленев.— Я не филин, в темноте не вижу.

— Видящий при свете услышит в темноте,— сказал Ванюшка откуда-то издали.— Обойдешься.

Но все же в камине затлела искра, и вскоре загорелся маленький костерок из толстых книг. Синеватое пламя нехотя перелистывало желтые страницы, зачитывая их до черных дыр.

Оленев оказался в лаборатории алхимика XVI века, но в какой-то ненастоящей, несмотря на все атрибуты, словно бы построенной искусным декоратором из картона и фанеры для съемок фильма. Ванюшка сидел на столе в Ехидной форме, сплетя ложноножки в гордиев узел. Длинные квазииглы были картинно прикрыты мантией, расписанной алхимическими символами. Многочисленные ложноручки быстро и бесшумно переставляли колбы, ступки из агата и книги в тяжелых дубовых переплетах, обтянутых тисненой кожей. Некоторые из них он отбрасывал в сторону, из других вырывал картинки, а остальные не глядя ловко бросал в камин.

— Для покоренья зверя злого скажу всего четыре слова...— устало процитировал Оленев Гёте и уселся на колченогий табурет.

Табурет оказался фальшивым, склеенным из ватмана, и Юра, естественно, грохнулся на пол, искусно сработанный под камень из кусков линолеума.

— Ну и что же это за слова?— ехидно спросил Ванюшка, не прекращая своего занятия.

— Пошел к чертям собачьим!— сказал Оленев.

— Логическая ошибка,— хихикнул Ванюшка.— Собакам черти ни к чему. Да и чертям не до собак. Им самим в аду тошно.

— Ад, рай, игра слов. Они в душе человека...

— И в деяниях его. Познал?

— Кое-что, — согласился Оленев. — Зачем книги жжешь! Если холодно, топи уж лучше ассигнациями. Все-таки дешевле.

— А,— махнул розовой псевдоручкой Ванюшка.— Макулатура. Даже в утиль не годится. Понаписали на свою голову. Разве сумеешь все это прочитать и запомнить?

— Я же сумел.

— Ну и что, ты стал более счастлив? Один земной глупец сказал: «Чем больше читаешь, тем больше глупеешь». А еще один сказал: «Многие знания умножают печаль».

— Цель жизни человека не только в поисках счастья. Разве твоя потеря заключена в этом?

— Но я не человек, я просто камень с философским образованием. Образовался я так: когда Большое Космические Яйцо шарахнуло во все стороны... Впрочем, тебе это знать ни к чему. Нас было двое. Я потерял брата-близнеца и знаю одно — он должен быть где-то здесь. Одиночество вконец доконало меня.

Ванюшка принял Печальную форму, подошел к камину и стал посыпать пеплом напудренный парик.

— Но теперь я знаю точно,— сказал он сквозь поток фальшивых слез,— что мой братик здесь, рядышком, он вот-вот родится, обретет форму. И как же я буду нянчиться с ним, пестовать, пылинки космические сдувать, как же я буду...

— Я близок к твоей потере? Это так?

— Так, Юрик, так, клянусь собственной Трансмутилкой. Но ты начинаешь нарушать Договор.

— Чем?

— А сам не знаешь, да?

— Мне кажется, я влюбился,— честно сказал Оленев,— и был вынужден показать свои знания. Но ведь у меня не было другого выхода. От этого зависит жизнь людей.

— А Териак?

— Его нашел не я, а ты. К тому же ты выполнил свое обещание лишь наполовину. Он не исцеляет от всех болезней.

— Во-первых, я его не нашел, не создал, а лишь реставрировал уже открытое не мной. Не путай художника с реставратором, Юрик. А во-вторых, именно ты применил его на практике. Как ты думаешь, кто больший преступник: ученый, открывший атомный распад, или генерал, нажавший на кнопку? Изобретатель самолета или летчик, сбросивший бомбу? Как отличить преступление от благодеяния? Ты ведь мудреный, ответь.

Вместо ответа Оленев взял большую, обмазанную глиной колбу и, прицелившись, запустил в Ванюшку. Колба проскочила сквозь квазитело Ванюшки и, проломив картонную стенку, исчезла в нетях.

— Вот видишь,— сказал Ванюшка, раскатываясь в двухмерный блин.— Обычный человеческий аргумент. Когда не хватает терпения и рассудка, то начинают запускать друг в друга разные предметы.

— Ничего подобного. Ты ведь тоже запускал в меня свои дурацкие скипетр и державу.

— А я тебя испытывал на терпимость. Ты же дождался момента и отомстил мне. Нормальная человеческая логика.

— Значит, я становлюсь нормальным?

— В какой-то степени. Не то в пятой, не то в шестой. Я слаб в математике,— заприбеднялся Ванюшка, обретая форму Двоечника,— но уже вижу, как и где должны сойтись параллельные прямые. Не пройдет и года, как я обниму моего долгожданного братика. Теперь то уж точно — узел завязан, и все вы, особенно ты, покорпите над ним вволюшку.

— Уж не я ли должен родить твоего братика?— с усмешкой спросил Юра.

— Как знать! До свиданья, папочка!— сказал Ванюшка голосом Леры и Дымообразно уполз в трубу камина.

Камин оказался нарисованным, как в известной сказке. И огонь, пылающий в нем, не грел, и книги были не книгами, а раскрытыми картонками из-под жен-

ских сапог, и даже пепел ненастоящим. Юра не стал повторять чужие ошибки и, жалея нос, просто разорвал руками яркую картинку, сделал шаг в темноту и оказался в своей квартире.

Точнее — в большой комнате, где раньше, по праздникам, сходились все члены семьи за длинным столом, приглашались гости, ели, пили и пели песни, слушали музыку, танцевали, болтали и смотрели телевизор. Обычная комната обыкновенной семьи.

Сейчас стол был завален образцами камней. Маленькие и большие, осколки гранитных и мраморных плит, блестящие разноцветные кристаллы, рассыпанные как попало, друзы горного хрусталя, сияющие, как награды чемпионам, отшлифованные цветные камешки — все это переливалось, сверкало, слепило глаза. Этикеток не было, но Юра и без того помнил наизусть хитроумные названия. Он зачарованно, как скупой рыцарь, перебирал все это и легко воскрешал в памяти имена камней.

За спиной послышался камнепад. Оленев отпрянул и увидел, что его сорокалетняя дочь высыпает прямо на пол очередную кучу камней и кристаллов.

— Так ты уже не художница? — спросил он, бережно, чтобы не раздавить какой-нибудь образец, отступая к стене.

— И черт меня дернул пойти в геологию, — вместо ответа сказала дочь. — Тонула в реках, замерзала в тундре, горела в тайге, пять открытых месторождений... Профессор, в мои-то годы. Ну и что? Дети растут у родителей мужа, вот-вот внуки появятся, а я скоро превращусь в каменную бабу. Водрузи меня, папулечка, в центре фонтана. Ретруха что надо! Последнее слово в парковой скульптуре. Забирай это барахло, а я пойду в свой четвертый класс. Теперь-то я знаю, кем буду, когда вырасту.

— Так ли? — вздохнул Оленев. — Скажи честно, была ли ты счастлива?

— Цель жизни не в счастье, а в поисках его место-

рождения, папуля,— сказала Лера и подмигнула отцу.— Как в старой легенде, чем больше приближаешься к Эльдорадо, тем дальше оно отдаляется. Помнишь стихи Эдгара По? «Ночью и днем, Млечным Путем, сквозь кущи райского сада, держи ты путь, но и стоек будь, если ищешь ты Эльдорадо...» А стоит найти клад и взять его в руки, как он сразу же превращается в глиняные черепки. А это означает, что надо снова искать. Истина одна, папа, просто мы называем ее разными именами. Не истина важна, а путь к ней. Вот так-то, мой славный, мой вечно молодой папашка...

Она опустошила рюкзак, встряхнула им для верности, клубы пыли на миг закрыли ее, Оленев зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что дочери уже нет.

Из соседней комнаты послышался голос Марины. Кажется, она распекала дочь не то за разбитое стекло, не то за плохую отметку за поведение. Оленеву не хотелосьшний раз сталкиваться с женой, впервые за всю свою супружескую жизнь он ощутил раздражение и неприязнь к этой чужой для него женщине. Он ушел в другую комнату и по обилию сувениров, свертков с яркими этикетками, рогов, водруженных на шкаф, догадался, что жена вернулась из очередного путешествия. Подробности его не интересовали.

В коридоре он натолкнулся на отца. Тот сидел на корточках и, сосредоточенно посапывая, мастерил кораблик из щепок.

— Не порань руку,— сказал Юра.

— Ранней ранью руку пораню,— сказал отец.— Ты плыви, кораблик мой, по водичке голубой...

Юра с нежностью погладил его по лысине, начинающей обрастать пушком новых волос, и подошел к зеркалу.

Мамы в нем не было, но на столе стояла швейная машинка, а под столом ползал белобрый карапуз, подбирая лоскутки и нитки. Юра узнал себя и с грустью подумал, что было бы неплохо вернуться в то время,

когда не все вещи были названы по именам и слово «мама» казалось самым сладким, самым желанным и вечным.

Зазвонил телефон. Юра поднял трубку и услышал голос дочки.

— Эй, папашка,— сказала она,— я тут ракушку толкнула. Очередную сказку ты будешь слушать по телефону.

— Что ж,— согласился Юра.— Это удобно. Всегда можно бросить трубку, если надоест слушать. Опять твой бесконечный цикл?

— Полицикл,— сказала Лерочка.— Избранные сочинения народной сказительницы Валерии Оленевой. Итак, сказка называется...

Она говорила, а Оленев слушал вполуха, безразлично следил за скольжением мыслей — ярких, упругих, но пустотелых, как воздушные шары, неуловимых и странных, и сам не знал толком, чьи это мысли — его, дочкины или того, кто со вчерашнего дня поселился в его доме. Чувство раздвоенности не покидало его. Он находился одновременно в двух мирах. Один из них был реальный, другой — абсурдный, но какой из них настоящий, Оленев уже не мог понять. Он заблудился во времени и в пространстве и знал одно — надо искать свой, единственно верный путь.

— С днем рождения тебя, Оленев!— сказала дочка в конце сказки.— Дарю то, не знаю что. Дрыхни с чистой совестью, папашка!— И отключила телефон.

— Вот как?— сказал вслух Оленев.— А ведь в самом деле, вчера или сегодня мне исполнилось тридцать три года. Совсем забыл. За шампанским, что ли, сходить?..

Он вышел на лестничную площадку, вызвал лифт, долго прислушивался, как тот со скрипом подъезжает, а потом распахивает гостеприимные двери, вошел в него, и тут же погас свет, пол под ногами стал уходить, Оленев наугад нажал какую-то кнопку, лифт взревел, за-

мяукал, зашипел, сверкнули желтые глаза, и двери, с визгом расстегнувшись, как застежка-«молния», вытолкали его взашей. Оленев упал на что-то тонкое и упругое.

Зажегся свет, и Юра увидел, что лежит на раскладушке в лаборатории, а у двери стоит Веселов и щурит глаза.

— Выспался?— спросил он.

— Что-то не понял,— сказал Оленев, поднимаясь.— Как там дела? Я долго спал?

— Дела всякие, а спал ты чуть больше часа. Машка велела разбудить. Что-то там с анализами творится. Говорит, что только ты сумеешь разобраться. Во! Единственный в мире специалист по оживителю! Извольте работать, метр.

Работать пришлось много. Больничная лаборатория не справлялась с анализами, необходимыми для Оленева, и он сам бегал по подземному переходу с пробирками, сам определял нужные показатели, быстро вычислял в уме сложные кривые графиков, корректировал, изменял, сверялся со своей необъятной памятью, все шло так, как и должно быть. Только для него одного — нормально и естественно. Остальные реаниматологи молча отстранялись, враждебности или насмешек к Оленеву не проявляли, но скорее всего никто из них не надеялся на благополучный исход. Слишком все это было непривычно — и неведомо откуда взявшаяся энергия Юры, и его знания, неизвестно где почерпнутые, его убежденность в правоте. С молчаливого согласия Марии Николаевны Веселов принял на себя роль «мальчика на побегушках».

«Принеси то, сделай это»,— говорил ему Оленев, тот подмигивал красным от бессонницы глазом, отпускал очередную шутку и делал то, что говорили.

Приезжали разные люди, с недоверием листали истории болезней, хмыкали, пожимали плечами, уходили в кабинет профессора, оттуда доносились голоса и споры, а Оленев хотел только одного — чтобы ему не мешали,

не отвлекали пустыми речами, не мотали нервы бесконечными «почему» и «для чего», а если кто-нибудь пытался вмешиваться, он отмалчивался или огрызался, люди вздыхали, смотрели на него озадаченно, но в дискуссии не вступали.

В клинике шла обычная работа, делали операции, хирурги обходили палаты, принимали новых больных, писали свои бесконечные истории. Истории болезней, которые надо было победить, изгнать из человеческого тела, как злых духов в древних легендах.

— Шаманишь?— спросил Чумаков в столовой, куда Оленев забрел скорее по инерции, чем из-за голода.— Ну-ну. Сам не знаю почему, но тебе верю. И чем ты таким берешь? Непонятный ты для меня мужик, Юрка.

— Чего не понимаешь, тем не обладаешь,— рассеянно сказал Оленев.— Есть такая испанская поговорка. А веришь ты мне просто из чувства противоречия. Если все против одного — у тебя срабатывает рефлекс. Выхватить шпагу и встать на сторону слабого. Так уж ты устроен, Вася.

— Еще чего,— буркнул Чумаков.— А этот ваш хмырь с веселой фамилией что увязался? Первый заварил кашу, а теперь поделили ложки и вместе расхлебываете?

— У него тоже рефлекс,— Вася.

— Послушаешь тебя, так вся больница разделена на мушкетеров и на этих, как их там, гвардейцев кардинала.

— А кардинал для тебя, конечно, профессор. Вот уж, титулоненавистник.

— Работать надо, а не языками болтать да всякими диссертациями бумагу изводить.

— Любая диссертация — это шаг вперед. Пусть и маленький.

— Диссертации пишут не для потомков, а для потомства, как сказал один наш умник. Хотя честно при-

знался. Лишний раз за операционный стол не затащишь, а уж ради банкетного полжизни готовы отдать...

— Не зуди. Был же профессор Морозов — твой учитель. И таких, как он, — тысячи.

— Был, да помер, — мрачно изрек Чумаков. — После него всю хирургию развалили в городе своими интригами.

— И когда ты успокоишься, Вася? Больных лечим. Не хуже, чем в других больницах и городах. На месте не стоим, а от ошибок никто не гарантирован. Не всем же быть похожими на тебя.

— А жаль, — искренне сказал Чумаков и помрачнел еще больше.

— Побаливает, — сказал Оленев. — Все чаще. Холеститит, наверное. Чувствую, что скоро тебе под нож попаду.

— Это я запросто. Только скажи. Тоже себе хваленый оживитель введешь?

— Начну помирать — в завещании укажу.

— Драматическая медицина! — воскликнул Чумаков. — Хоть статью в газету пиши о подвиге Грачева!

— Еще напишут. Это перелом в истории, Вася. Запоминай. Будешь на старости лет мемуары кропать — сгодится каждая деталь.

— Угу. Особенно мне запала в память небритая физиономия Оленева... Вторые сутки на ногах? Пойдем, хоть бритву дам. У меня в столе всегда лежит запасная.

— Ну уж нет, я не бреюсь до полной победы.

До полной победы было еще далеко. Оленев остался на вторую ночь, с большим трудом уговорив Марию Николаевну пойти домой с тем условием, что он сразу же вызовет ее, если будет нужда. Труднее было выпроводить Веселова. Он так и шарашился по больнице в мятом халате, нечесаный и немытый, приводя в недоумение больных своим явно не врачебным видом.

— Иди поспи, — сказал ему Оленев, — дома, наверное, ждут.

— А у меня его нет,— беспечно ответил Веселов.— Мой дом — моя крепость, но и крепости берут штурмом или на измор.

— Жена выгнала?

— Не то я ее, не то она меня. Что-то не понял.

— М-да... Хочешь, поговорю о тебе с Чумаковым? Он, как узнает, что ты без семьи и крова, сразу же возьмет к себе жить. Любит он униженных и несчастных.

— А я счастливый. Счастье — оно в труде!

Прошла и эта ночь. Все оставалось по-прежнему. Жена Грачева дремала в кресле, чутко вскидывая голову при малейшем шорохе, заставить ее уйти домой оказалось совершенно невозможным. Так и коротали они ночь — Оленев, Веселов и жена Грачева.

Болела голова, неприятная, сосущая боль то и дело возникала в животе Оленева, он просил сестру сделать укол, отлеживался в ординаторской на жестком диванчике и боялся только одного — заснуть. Не потому, что в эти минуты могло случиться что-то непоправимое, а просто, умудренный опытом утра, опасался снова очутиться в своем доме, окунуться из бытия в инобытие.

И только, когда наливал в чашку заваренный до непроницаемости чай, неясное шевеление и бормотанье доносилось из левого кармана халата, чашка начинала мелко вибрировать, и жидкость на глазах испарялась, исчезала, поэтому приходилось выпивать чай залпом, пока его не перехватывали на полдороге.

К исходу третьей ночи вздрогнули самописцы монитора в палате Грачева и ровные, словно выведенные по линейке чернильные линии всколыхнулись, короткие, пока еще нечеткие и хаотические всплески зачеркали по бумаге, постепенно упорядочиваясь, принимая знакомые формы дельта-ритма головного мозга.

Медленно, с трудом проталкивая загустевшую кровь, заработало сердце, забилося с переборами, и к утру, когда ранний июньский рассвет разбудил птиц, все более четко и ритмично вспыхивал и погасал на пульте

монитора индикатор пульса. Поднялось артериальное давление, незаметное глазу дыхание наращивало силу, глубину и к началу рабочего дня порозовевший Грачев походил на спящего человека. На спящего, а не на умершего...

— Можно, я вас поцелую?— сказала жена Грачева. И Оленев не отстранил свою колючую щеку и сам молча склонился перед ней.

Женщина не оживала, и, несмотря на первую, пока еще неполную победу, Оленева не оставляло чувство беспокойства, хотя в правоте своей он был уверен, как никогда раньше.

Было воскресенье, но клиника не опустела, как обычно, а наоборот — наполнилась людьми, по одному они подходили к кровати Грачева, потирали лысины вспотевшими руками, говорили что-то, обращались с вопросами к Оленеву, он отвечал машинально, кое-кто жал ему руку, хлопал доброжелательно по плечу, кто-то по-прежнему сомневался в успехе, а Юре хотелось только одного — лечь, заснуть и спать без сновидений.

Его почти насильно увели в пустующий бокс, уложили на кровать, принесли термос с горячим бульоном, влили силком несколько ложек в рот, он проглотил, пробормотал нечленораздельные слова благодарности и ушел в путешествие в никем не познанную страну снов и сновидений.

Как обычно во время сна, время менялось, то замедлялось и впадало в оцепенение, то растягивалось до бесконечности, уходя в завтра, проникая в прошлое, затягивало в свои водовороты, уносило в глубину, выталкивало на поверхность, прорастало побегами в заповедные леса подсознания, сплетало своими вьющимися стеблями несоединимое в яви, оживляло давно отзвучавшие слова, одушевляло стертые образы былого, пело и говорило забытыми голосами, убаюкивало, будоражило, успокаивало и исцеляло.

Некоронованный властитель мира, великий безымян-

ный владыка его, текущий никем не познанным путем, уносящий и приносящий, дарующий и отнимающий без спроса.

Нил, оживляющий пустыню мира.

Ганг, растворяющий в своих великих водах людские жизни и судьбы.

Лета, уносящая скорби и печали. Стикс, забирающий любовь и страсти.

Время — Великий Океан, тот самый, в котором сонно плещутся три кита, поддерживающие Вселенную...

Вездесущий Веселов бестрепетной рукой выдернул Оленева из инобытия в бытие.

— Который час? — пробормотал Оленев, сясь открыть глаза.

— Десятый, — сказал Веселов. — Ты дрыхнешь десятый час. Без задних ног причем. Ноги-то пристегни.

— Будто бы есть передние ноги, — проворчал Оленев, окончательно просыпаясь. — Что я тебе, собака, что ли? Как там дела?

— Сплошные конфабуляции, — торжественно сказал Веселов. — О!

— Ложные воспоминания, — машинально перевел Оленев с медицинского на русский. — У кого? Говори яснее.

— У шефа, конечно.

— Он разговаривает? — вскочил Юра. — Он пришел в себя?

— Пришел. На своих двоих. Да как начал пороть чушь! Там психиатр. Анализирует. Тестирует. Докапывается. Цирк! Бормочет, что он не Матвей, а Степан Иванович. Госпиталь, говорит, контузило, говорит, взрывной волной. Форсировал Днепр.

Грачев лежал на койке, заботливо укутанный одеялом, возле него на цыпочках передвигались врачи, рядом, на стуле, сидел незнакомый человек и тихим голосом беседовал с Грачевым. Тот отвечал что-то шепотом,

Оленев разыскал глазами жену Грачева, подошел к ней, натянуто улыбнулся, словно спрашивая: «Это так?»

— Все хорошо, Юрий Петрович,— прошептала она.— Он утверждает, что это не он, а его отец. Степан Иванович на самом деле был контужен при форсировании Днепра. Это... побочный эффект вашего препарата?

— Не знаю,— честно сказал Оленев.

Потом был очередной консилиум. Психиатр долго говорил о помрачении сознания, возможно, временном, никаких прогнозов не давал и в заключение высказал мысль, что нужно ждать. Только время покажет.

Посматривали на Оленева, но никто вопросов не задавал, никто не хвалил, но и не ругал, по крайней мере.

— Генетическая память,— сказал Оленев, ни к кому не обращаясь.— У него проснулась генетическая память.

— Вы начитались фантастики,— сказал профессор.— Это совершенно ненаучно.

— Анабиоз тоже из области фантастики,— сказал Оленев,— но, как видите, Грачев из него вышел.

— А выйдет ли он из этого состояния?

— Выйдет,— уверенно сказал Оленев.— Извините, я должен продолжить работу.

Все промолчали, словно соглашаясь с неотъемлемым правом Оленева на проведение этой странной, ни на что не похожей работы.

Ближе к ночи Грачев заснул. Это был сон больного человека, полузабытье, полубоддрствование. А к полночи ожили самописцы в другой палате.

Все повторялось. Оленев уже знал, чего можно ожидать в ближайшие часы, уверенно давал распоряжения сестрам, сверялся с анализами, взятыми у Грачева. Правда, это был другой случай, поврежденный при травме мозг мог отреагировать на анабиоз иначе, чем здоровый, но шли часы, и к утру очередного дня женщина пришла в сознание.

Он осторожно прикоснулся к ее щеке и громко, даже властно, приказал:

— Открой глаза! Так. Хорошо. Как вас зовут? Вы можете говорить?

Женщина смотрела на Оленева, шевелила губами, потом произнесла несколько слов. Юра прислушался и узнал польский язык.

— Эльжбета,— сказала она.— Болит голова.

— Все хорошо. Это пройдет,— сказал Оленев на польском.— Вам тяжело говорить?

Женщина еле заметно кивнула головой и снова закрыла глаза.

— Покой,— сказал Оленев сестре.— Покой и ожидание...

Он не знал наверняка — или эта женщина на самом деле была полькой, или повторяется история пробуждения Грачева — чужие воспоминания, чужая память вытеснили свои. За все это время никто из родных не искал ее, никто не пытался найти следы, потерянные в большом городе, поэтому выяснить до конца истину было невозможно.

И пришел день окончательного пробуждения Грачева. Он узнал жену, потом, постепенно, словно выплывая из полутьмы,— всех тех, кто подходил к нему.

— Не вините Веселова,— сказал он слабым голосом.— Что-нибудь получилось? Я спал?

— Да, Матвей,— сказала его жена.— Ты просто спал.

— Черт!— хрипло выругался Грачев.— Неужели не получилось?

Веселов дернул за рукав Оленева, подмигнул и вытащил силком в коридор.

— Если шеф начал ругаться, значит, все в порядке.

— Хоть за шампанским беги,— устало сказал Оленев.— Надо же — выиграли!

— Шампанское — это хорошо,— согласился Веселов.— Одна беда — не пью.

— Это с каких пор?

— Уже пять лет,— вздохнул Веселов.

— Сколько тебя знаю; а никак не пойму, когда ты говоришь серьезно, а когда шутишь. Ты же каждое утро с похмелья.

— А че? Я же тебе говорил, что с дураков и пьяниц спроса меньше. Хочется вам видеть во мне шута горохового; да еще алкаша в придачу — пожалуйста!.. А я, как с женой развелся,— ни капли. В такой ситуации покатиться по наклонной ничего не стоит.

И он тут же слегка надул щеки, осоловело взглянул на Оленева, искусно икнул, покачнулся, прильнул спиной к стене и сказал заплетающимся языком:

— Фу, черт, и набрался же я... Ей-богу, последний раз. Ни-ни.

— Артист!— восхищенно сказал Оленев.— Ну артист. Столько времени дурачить людей!

— Это легче легкого,— сказал Веселов, мгновенно снимая маску.— Изображай из себя плохого, а оставайся хорошим — все поверят, а если наоборот — начнут искать тайные грешки и такого напридумывают! Психология... Пошли в буфет, компота дернем по стаканше.

Они пили тепловатый разбавленный компот, заедали черствыми пирожками, весело принимали поздравления, болтали, подталкивали друг друга локтями, и было им так хорошо, как бывает после нелегко доставшейся победы.

Хотя и не окончательно.

Домой идти не хотелось, Оленев боялся выбиться из линейного времени и привычного пространства до тех пор, пока не придет полная уверенность в том, что жизнь и память женщины сохранены и никаких сюрпризов ждать не придется.

— Вас дома не потеряли?— участливо спросила Мария Николаевна.— Пошли бы. Если что случится, я пришлю за вами машинку.

Олснев не ждал от нее слов благодарности и восхищения, но даже сама эта интонация, уважительная и мягкая, наполнила его тихой радостью.

— Я пойду,— сказал он.— Немного погода.

Мария Николаевна молча протянула ему листки с расчетами, привычно замкнула лицо непроницаемой маской.

— Сохраните это. Я была не права. В самом деле, пора на пенсию. Стандартное мышление губит врача. Я рада, что у нас в отделении есть такие, как вы.

— Хорошо,— сказал Оленев.— Хорошо, что мы умеем извлекать уроки из ошибок. Я тоже многое понял за эти дни. Мне кажется, что главное в нашей работе — не разучиться верить. И ждать. Я не могу пока уехать. Женщина говорит по-польски, никто из вас этого языка не знает. Кроме меня.

Он ждал еще сутки, часами просиживал у изголовья больной, самолично поил ее морсом и бульоном, неторопливо беседовал и постепенно узнал, что женщина — не кто иная, как жена ссыльного польского повстанца, приехавшая за ним в Сибирь после поражения восстания.

«Январское восстание 1863 года,— подумал Оленев.— Сколько же лет я ждал ее...»

Он объяснил ей, она находится среди друзей, что она просто больна, но скоро пойдет на поправку, что муж ее жив, ждет, когда она выздоровеет и им разрешат ехать вместе на вечное поселение в неведомую, чужую и холодную землю.

Потом женщина заговорила по-русски, назвала себя Марией, горестно рассказала, как умерла ее мать Эльжбета и теперь ей живется несладко на...

И тут же новое поколение, новая память всплыли в ней, с помощью наводящих вопросов Оленев узнал начало двадцатого века, свой родной город, улицу с давным-давно переименованным названием...

И еще скачок из прошлого в прошедшее, и еще...

История страны, единственной и любимой, две войны, тяжелые годы, дочь Ирочка...

— Ира,— сказала она.— Меня зовут Ира. Где я?

— В больнице. Вы попали под трамвай. Ничего страшного, вы уже поправляетесь.

— Почему я ничего не помню?

— Это бывает. Лучше скажите, где ваши родные.

— Мама? Должна быть дома. Сын в пионерлагере. Кажется... Я ехала на работу. Утром. Потом ничего не помню.

— В семь тридцать утра вы вышли на остановке «Магазин»,— сказал Оленев, сдерживая волнение.— Автобус сорок один. Так?

— Нет. Я никогда не езжу на этом автобусе.

— Я вас видел в то утро. Запомнил ваше лицо. И сразу же узнал, как только вас привезли в больницу. У меня хорошая память.

— Наверное, вы ошиблись. У меня работа совсем в другом месте.

Через час все выяснилось окончательно. Женщина вспомнила свой адрес, домашний телефон, ее совсем поседевшая мать приехала в больницу, никак не могла успокоиться, долго плакала в приемном покое, где Оленев говорил, что все будет хорошо, опасность миновала и через две-три недели ее дочь выпишется домой.

Да, это была не она.

«И у меня конфабуляции,— грустно усмехнулся про себя Оленев,— ложные воспоминания... Но почему я так четко сопоставил образы этих трех женщин? Первую, увиденную в Окне, вторую, встреченную в автобусе, и эту — случайно попавшую под трамвай?.. Да очень просто. Я обрел способность любить и теперь все время буду искать эту любовь, эту единственную женщину, каждый раз ошибаясь. Искать, ошибаться и снова искать. Вечное приближение к Эльдорадо... Наконец-то я живу полной жизнью... Спасибо».

— Нарушаешь, нарушаешь, нарушаешь,— проше-

лестело из левого кармана.— Аз воздам. Воз дам, нагруженный пинками.

— Пойдем лучше чаю попьем,— мирно сказал Оленев.— Разве не заслужили, а?

— Искуситель,— чмокнул губами тот, кто сидел в левом кармане.— Пей, да дело разумевай. Чай гонять — ума не занимать. Сигарета да чай — помрешь невзначай. Каждый день пьешь чай — цвет лица прощай...

— Говорильная форма,— вздохнул Оленев.— Пора заткнуть Говорильню кружкой чая.

— Кружку чаю уже не чаю,— проворчали из кармана, и бормотанье длилось до тех пор, пока Оленев не опрокинул туда добрый стакан горячей жидкости.

Халат без следа впитал чай, а Оленев вышел во двор, погрелся на солнце, зажмурил глаза от слепящего летнего блеска, а когда открыл, то увидел, что находится у себя дома.

— Пора отдохнуть, папулечка,— услышал он голос дочери.

Оленев повертел головой, но увидел только длинную анфиладу комнат, уходящую в бесконечность, наполненную расползавшимися вещами, отца, бродящего вдалеке с юлой в руках, платья жены, разбросанные как попало в неимоверном количестве, а самой Леры не было.

— Ты перешла на телепатическую связь?— спросил он.

— Угу. Раз — плюнула! Два — изобрела! Ничего не стоит. Ни копейки. Сказку будешь слушать?

— Теперь не отвяжешься, коли по телепатии,— сказал Оленев.— Валяй свой цикл.

Он осмотрелся, подыскал относительно свободный диван, скинул с него неплохо темперированный прибор, прилег поудобнее и под голос дочери стал постепенно засыпать.

— Итак, сказка называется «Процент себя». А начинается она как обычно. Человек по фамилии Оленев

один раз в году справляет свой день рождения. Он смотрит в календарь и заранее очень точно, определяет эту чрезвычайно важную дату.

В этот день Зёмля находится по отношению к Солнцу в таком же положении, как и в тот день, когда человечек Оленев сделал первый вдох. Оленев считает этот день главным. Он покупает продукты, готовит праздничный ужин, подыскивает веселую музыку и зовет гостей. Вместе с ними он пьет, ест, пляшет и поет разные песни. Он искренне рад, что когда-то родился, ведь этого могло бы и не случиться.

Падший Ангел дня рождения не признает. Потому что не помнит его. И вообще, ему глубоко наплевать на такие глупости. И поэтому он ест, пьет и веселится тогда, когда это ему захочется. Иногда по триста шестьдесят пять дней в году.

Печальный Мышонки тоже не справляет этот славный день. Оттого что у него никогда не было дня рождения. Но это, конечно, не означает, что он существует вечно. Он рассуждает так:

«Я живое разумное существо. Я происхожу от других существ, которые возникли из неживого неразумного вещества».

Значит, между нами есть не только родство, но и тождество. Земля существует пять миллиардов лет. А раньше было Большое Космическое Яйцо, где все вещество Вселенной было собрано в одном месте. Большой Взрыв произошел пятнадцать миллиардов лет назад. Значит, я, как часть Вселенной, существую столько же. И как же я буду отмечать свой день рождения, если я не знаю, когда его отмечать?

Каждый миллиард лет? Или каждую наносекунду? Или каждый четный четверг августа? Или когда в окно залетает оса? Или когда ласточки летают низко над землей? Или когда у Оленева насморк? А если я не знаю этого, то лучше сидеть в левом кармане Оленева и потихонечку пересчитывать атомы своего тела. Что-

бы узнать процент себя по отношению ко Вселенной. И каким бы ни был маленьким, все равно процент есть процент. А знать, что ты весомая часть Вселенной,— удивительно приятно!

Ты еще не спишь, папулечка?

— Сплю,— честно признался Оленев.— Отключаю свою связь, Падший Ангел. Дай отдохнуть отцу.

— От Оленева и слышу!— весело огрызнулась дочка и щелкнула переключателем телепатической связи.

Оленев спал и видел сны, слишком похожие на сумбурную явь его дома.

Впереди была странная, трудная, полная поисков и потерь жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Прошло лето, и осень прошелестела листопадом вдоль окон, и зима, разделенная пополам Новым годом, перетекла в весну, и снова июнь оживил опустевшую землю больничного парка никем не сеянными травами.

Прошел почти год перелома, наполненный событиями, как перенасыщенный раствор соли, опадающей на дне стакана прозрачными крупными кристаллами.

Грачев, выздоровев, тут же с утроенной энергией приступил к очередной серии опытов. Все более четко и ясно вырисовывались контуры новой, еще никем не пройденной области медицины. Работой сразу же заинтересовались, появились прощенные и непростые помощники, соавторы, диссертанты. Ребионит привлек внимание не только реаниматологов, но и специалистов по генетике, космонавтике, психологии. Возможность достижения длительного анабиоза, оживление генетической памяти, выведение из терминального состояния тяжелых больных и многое, многое другое, затрагивающее сотни научных и этических проблем.

Вскоре Грачев уехал в другой город, где ему пре-

доставили условия для продолжения работы, а в отделении реанимации его место заняла Мария Николаевна, изменившая свое отношение к новому препарату, и теперь все чаще и чаще ребионит спасал тех, кого ранее спасти было невозможно. Лидерство пришлось взять на себя Оленеву, теперь он не мог, как раньше, напустив на себя скучающий вид, отсиживаться вдали от бурь и споров с книжкой в руках. В глазах всех он был если и не героем, то лучшим знатоком в этой области. Он не писал статьи с заумными названиями, не пытался собирать материал для такой близкой диссертации, он просто работал, используя свои знания, скрытые раньше от окружающих, свое умение мгновенно просчитывать в уме варианты будущего, и коллеги его сначала удивились, а потом стали принимать все это как должное. Статистика смертности в отделении резко пошла вниз по кривой, ребионит не стал панацеей от всех болезней, но рамки, в которых удалось его втиснуть, были определены и рассчитаны почти досконально, что позволяло вовремя ввести нужную дозу в нужное время.

А дома у Оленева шла своя жизнь.

Каждый день приносил сюрпризы. Споры с Ванюшкой, бесконечные уходы и возвращения жены, блуждания дочери по оси времени и поиски новых и новых вариантов судьбы, передвижение отца в сторону детства, молодая мама по ту сторону зеркала, зайчик от телескопа, наведенного тещей, ее письма с просьбами и ультиматумами и, самое главное, самое мучительное в жизни Оленева — любовь, не умирающая в его душе, так и не найденная, узнаваемая, но не признанная, вот-вот готовая родиться и огласить мир первым криком новорожденного счастья.

На улицах, в автобусах, в коридорах больницы, в лифте собственного дома он встречал ту самую женщину, ради которой был готов отдать что угодно, в нем оживал тот образ, возникший в Окне и совпавший с его душой, как звук камертона, заставляющий резониро-

вать струну, но каждый раз приходилось с горечью убеждаться, что и этот путь ошибочен, и этот, и тот...

Подобно многим врачам, Оленев не слишком-то обращал внимание на свое здоровье. По сравнению с муками и болезнями больных, окружающих его ежедневно, собственные казались незначительными и мелкими — поболит и перестанет. Все чаще и чаще возникали ноющие боли под ложечкой, отдающие в спину и под правую лопатку, он принимал обезболивающее, терпеливо дожидался прекращения приступа. Диагноз он себе поставил давно и не слишком-то беспокоился по этому поводу. С такой болезнью миллионы людей доживают до глубокой старости и умирают совсем от других причин. Иногда Чумаков, опытным глазом уловив, что у Оленева начался приступ, сочувственно качал головой и говорил что-нибудь вроде: «Давно на тебя нож точу, шаман ты этакий. Лег бы в терапию или ко мне в отделение, отлежался бы, подлечился, а то как шарахнет, не обрадуешься». — «Ерунда, — отвечал Оленев. — Здесь одно лекарство — диета. Сам виноват». — «Ну да, ешь что попало и как придется, а еще семейный человек. Куда жена смотрит?»

Куда смотрит его жена, Оленев и сам не знал толком, в редкие минуты встреч, когда она возвращалась из очередного путешествия, уставшая, переполненная вещами и впечатлениями, разговоры их были лаконичны и просты: о погоде в том или ином месте земного шара, о ценах на барахло и продукты, о предсмертных криках моды, о мужьях дочери и многочисленных внуках, исчезающих неизвестно куда.

Приготовление пищи, забота об отце и приведение в маломальский порядок взбесившийся дом лежало на Оленеве. Он не тяготился этим, ибо давно привык заботиться сам о себе и о других в придачу и ни в чьей помощи не нуждался.

До поры, до времени, конечно. Так уж устроен человек, сильный, здоровый и независимый, он полагает, что

беды и злоключения могут произойти с кем угодно, только не с ним. Уж он-то всегда выпутается, пройдет мимо и до скончания своих дней будет невредим и здоров.

Особенно в день своего рождения.

Оленев редко отмечал эту странную дату, иногда, если не напоминали, вообще забывал о годовщине того дня, когда впервые вдохнул земной воздух. В этот раз о том, что он должен пересечь рубеж тридцати четырех лет, ему наемкнул Веселов и при этом, по обыкновению своему, делал уморительные гримасы, красноречивые жесты и удивлялся, как это до сих пор Оленева еще не распяти. Ну разве что попинали для приличия.

— Хорошо,— сказал Юра,— будет вам чаепитие. А что в гости не зову, так не обессудь, ремонт дома, не повернешься.

Он купил торт и все, что полагается к такому случаю, в конце рабочего дня они собрались в лаборатории, Мария Николаевна от имени всех преподнесла ему рубашку и галстук, произнесла тост, Юра поблагодарил, потом все разговорились, а Веселов тыкал Юру вилкой и вопрошал, не пора ли обмыть это дело по-настоящему. Все, кроме Оленева, принимали это всерьез, и лишь сам Юра подмигивал и подливал свежего чая в чашку Веселову. Чай был хороший, ароматный и крепкий, и, естественно, в левом кармане зашевелилось, заурчало, зачмокало губами, жалуясь на несправедливость де-лежки.

— Да погоди ты.— шептал Юра, пока никто не слышал.— Приду домой, напую до отвала.

— Тридцать четыре чашки,— сказали из кармана.— Ведерных.

— Ладно, ладно,— говорил Юра, прижимаясь левым боком к подлокотнику кресла.— Будет тебе. Все будет.

— И уж тебе достанется,— не то успокоили, не то погрозили из кармана.

Оленев полез в карман за словом, но там, разумеется, было пусто и бессловесно...

Дома первым к нему подошел отец. Он держал в раскрытой ладони белого мраморного слоника, безмятежно улыбаясь, полез целоваться и сказал, слегка шепелявя:

— С днем рождения, дядя.

— Спасибо, папа,— сказал Юра, целуя отца в кудрявую голову.

И узнал того самого слоника, подаренного ему на день рождения двадцать один год назад. Давным-давно потерянный символ счастья и благоденствия в доме.

Штора на окне распахнулась сама собой, и яркий солнечный зайчик заплясал по стене. Юра понял, что это теща послала телескоп, машинально хотел задержать штору, но зайчик — ушастый, с оттопыренной верхней губой — побегал, потом замер на середине и стал ритмично то вспыхивать, то погасать. Это была азбука Морзе. Юра невольно вчитался и прочел очередное послание матери жены:

«...честно признаюсь что по правде говоря я заболела новеньким синдромчиком картаганера что выражается у меня в зеркальном расположении внутренних органов запоздалым ростом и весом а также присоединилась триада сейнта в виде желчнокаменной болезни диафрагмальной грыжи и дивертикулеза толстой кишки поэтому требую у вас несколько тысяч рублей с копейками заверните во вчерашний номер местной газеты и положите под батарею на втором этаже моего подъезда не позднее чем через четыре часа с днем рождения не поздравляю желаю умереть вам на три дня раньше меня ваша К. К.».

Пометавшись по стене и на прощанье выдав несколько сигналов SOS, зайчик окаменел, побелел и упал на пол с глухим стуком, рассыпавшись осколками мела. Отец тут же подобрал мел и стал рисовать на полу ракушки, высунув язык и сопя от удовольствия.

— А вот и я!— закричала с порога Марина, врываясь в умопомрачительном сари бирюзового цвета.

В руках она держала гирлянду цветов и тут же, набросив ее на шею Оленеву, как лассо, запечатлела на его левой щеке тугой пунцовый поцелуй.

Чемоданы, приползшие за ней следом, распахнулись, и из них, как из рогов изобилия, посыпались нездешние фрукты, овощи, цветы, раковины, пряности в ярких пакетиках, музыкальные инструменты, парчовые и шелковые одеяния, халаты, расшитые золотом, кашмирские платки, ковер ручной работы, кольца, ножные браслеты, бусы из самоцветов, рога, отделанные черным серебром и слоновой костью, яркие птицы и прочее, прочее...

— С днем рождения тебя, дорогой!— как можно более нежно сказала Марина и запечатлела карминный поцелуй на правой щеке.— Академик ты мой, так хорошо было в Индии! Мы сейчас такой пир закатим! На весь мир! А это мой подарок!

И она протянула большой белый сросток кораллов, рогообразно ветвящийся вверх и в стороны.

— Известняк,— сказала неизвестно откуда взявшаяся дочка в мятой школьной форме.

Она выхватила кораллы из рук и, постукивая по ним пальцами, явно подражая занудливому лектору, произнесла:

— Как всем известно, слово «известняк» происходит от слова «известный». Это осадочная горная порода, по своему происхождению разделяется на органогенные, образовавшиеся из известковых раковин и скелетов животных и растений, хемогенные, возникшие в результате осаждения кальцита из раствора, и обломочные, сформировавшиеся путем накопления и цементации обломков более древних известняков. Химическая формула его кальций це о три, это одно из распространенных веществ на земле. Мел, мрамор, раковины, скелеты кораллов, кости животных и людей содержат его в неимовер-

ных количествах... Ну ладно, мне пора на кружок астрономии... Салют, родители!

Между тем посреди большой комнаты воздвигался огромный стол, Марина ловко и быстро сервировала его, украшала цветами и птицами, фарфоровым сервизом на сто двадцать персон, серебряными ложками и вилками с непонятными монограммами, хрустальными бокалами, фаянсовыми вазами, и только тарелки пустовали и рюмки ожидали, когда их наполнят.

— Какие чудесные пряности я привезла к этому дню, дорогой,— ворковала Марина.— У нас в Индии ни одно блюдо не обходится без пряностей. Смотри, какие — ваниль, корица, гвоздика, имбирь, кардамон, эстрагон, шафран, корнюшоны, киндза, мята, алыча, перец, базилика... Что за запах! Что за вкус! Недаром тот чудик объехал вокруг света, чтобы их найти... Ну ты знаешь его имя, ты все знаешь, это я забыла.

И тут в комнату вошла Лера, располневшая, краснощекая, в белой кружевной наколке на голове, в белом фартучке, красивая и жизнерадостная женщина тридцати с лишком лет.

— Сейчас я вас попотчую,— сказала она, добродушно улыбаясь.— Я теперь лауреат международного конкурса кулинаров и поваров. Все что хотите!

Откуда-то из-под стола выскочил Ванюшка в Многорукрой форме и начал снова между кухней и комнатой, неся блюда, тарелки, сковородки, кастрюли, сотейники и соусницы, супницы и жаровни. Комната наполнилась ароматом, парами, душистым дымком, стол начинал ломиться от первых, вторых, третьих, десертных, мясных, рыбных, мучных, сахарных блюд; все это источало запах, заставляло пускать слюнку и сосать под ложечкой.

— Бастурма!— торжественно и весело провозглашала Лера, хлопая в ладоши.— Шорпо! Базартма!.. Земниеку брокастии!.. Куйрык-баур!.. Айлазан!.. Угра-оши!.. Сых-кебаб! Люля-кебаб! Казан-кебаб! Чупан-кебаб!..

— Лучшие изделия лучших в мире баб! — съерничал Ванюшка; таща огромный чайник с красным цветком георгина.

На него никто не обращал внимания, словно бы Ванюшка был невидим для окружающих или просто привычен, как вид из окна.

Перечень блюд продолжался, Лера перешла на французскую, английскую, японскую, китайскую, индийскую кухню, а стол все ломился и ломился, ножки его изгибались в стиле барокко, но он хоть и потрескивал, но выдерживал натиск.

— Прошу за стол! — воскликнула Лера в конце, вернее — в начале того, что стало происходить.

И началось пиршество. Из теста выскакивали тосты, громко и жизнелюбиво восхваляли Оленева, окунались в бокалы с шампанским, покрывались пузырьками и, выскакивая на поверхность, захлебываясь, снова раздражались тирадами и славословиями. Их никто не слушал, все ели и пили, гул голосов, стук ножей, звяк вилок, звон бокалов сливались в додекафонную симфонию, а Ванюшка, поминутно меняя формы, играл на всех музыкальных инструментах кряду, попивал чаек, гонял шестом чаек, то и дело склонялся над ухом Оленева и подначивал: «Откушай, голубчик, голубца, отведай медведя, откуси торт сан-суси, рот шампанским ороси...»

Оленев отмахивался от него, как от мухи, и поначалу твердо решил воздерживаться от запретной ему пищи, поэтому прихлебывал молоко, закусывал сухим печеньем и старался не смотреть на великолепный натюрморт, щедро раскинутый перед ним на столе. Но потом, как-то незаметно, попробовал и то, и это, помаленьку, по кусочку, все было необыкновенно вкусно, заманчиво, аппетитно, и Оленев сам не заметил, как начал уплетать за обе щеки жареное и печеное, вареное и охлажденное...

И тут его кольнуло в правое подреберье, и еще раз —

в шею, в лоб, в челюсть, в спину, будто невидимый копье-метатель метко бросал в него свое не знающее милосердия оружие.

Сильная, раздирающая боль наполнила тело Оленева, хотелось закричать, он сдерживался, пытался отбиваться ногами, но его повалили на пол и стали бить по животу...

Белая, вся в белом, чистая и прекрасная, вечная, как любовь и жизнь, шла к нему женщина сквозь боль, смерть и надвигающуюся темноту...

Из глубины, из мрака, из боли проступало ее лицо, склонившееся над Оленевым, он видел ее глаза, губы, слышал тихие, успокаивающие слова, обращенные к нему.

Он лежал на упругом брезенте, по-видимому, его куда-то везли, взвизгивали тормоза, заносило на поворотах, утробно крича, рассыпала на мелкие осколки тишину сирена.

— Это вы,— сказал Оленев, продираясь из беспмятства,— это вы. Наконец-то я вас нашел.

— Лежите спокойно,— сказала женщина,— потерпите, скоро приедем.

— Я люблю вас. Почему вы все время ускользаете от меня?

— Это пройдет,— ответили ему,— печеночная колика. Уже легче?

— Не покидайте меня. Мне так плохо без вас.

— Все будет хорошо. Закройте глаза, успокойтесь, мы уже приехали.

Его качнуло, потом понесли, на секунду он увидел звездное небо, темные кроны деревьев, потом вспыхнул яркий свет, и его бережно переложили на жесткий топчан, пахнущий хлоркой.

Он слышал голоса, женские и мужские, среди них

были знакомые, кто-то уверенно задрал на нем рубаху и прикоснулся к животу. Боль полоснула с новой силой, Оленев застонал.

— Достукался,— прорычал голос Чумакова.— Что там случилось, доктор?

— День рождения,— сказала женщина, уже невидимая Оленеву.— Жирная пища, жаркое, пряности, сами понимаете...

— Еще бы,— сказал Чумаков,— обожрался все-таки. А еще врач! Исцели себя сам, собака ты этакая. Тащи-те его, ребята, в палату, покапаем маленько, а потом на стол. Нечего с ним церемониться, пока не загнулся.

Его опять переложили на носилки, покатали по темному коридору и внесли в палату реанимации. В ту самую, где он работал, на ту койку, где раньше лежал Грачев.

— Привет,— сказал Веселов.— Давненько не виделись. Назначения будешь делать сам или мне доверишь? Машку-то вызывать?

— Делай что знаешь,— сказал Оленев, преодолевая боль.— Никого не зови. Если будет операция, дашь наркоз сам. Пусть оперирует Чумаков.

— Ты прямо как на смертном одре. Еще завещание напиши. Так мы тебе и дадим помереть, жди-ждидайся. И не таких видали. Камешек заклинило в желчном пузыре. Мы его оттуда живо вытащим... Готовься к пыткам, тихуша. Сейчас узнаешь, каково твоим больным-то приходилось...

Мыли желудок, капали в вену, вводили лекарства, боль то отступала, то вновь начинала раздирать живот, заходил хмурый Чумаков, ощупывал и осматривал, качал головой.

— Что за больница,— ворчал он беззлобно,— чудик на чудике. Ничего, Юрка, пробьемся. Заштопаю так, что будешь как новенький.

Опять каталка, лифт, операционная, знакомые лица сестер и хирургов, было стыдно лежать в наготу перед



ними, но Веселов уже давал распоряжения анестезистам, кружилась голова, Юра услышал звон весенней капли в ушах — биение своего сердца, потолок потемнел, превратился на миг в звездное небо, потом погас, и пришла темнота.

Он прикоснулся руками к холодной поверхности зеркала в тяжелой бронзовой раме, прильнул всем телом к стеклу, оно поддалось, и он шагнул, и оказался на берегу реки своего далекого детства. Позванивала река на перекатах, перемывала разноцветную гальку, цветы чистотела глянцево светились в густой траве, запах мяты и чабреца плыл в нагретом воздухе. Он словно бы видел себя со стороны и в то же время сознавал, что именно он, тринадцатилетний Юра, смотрит на все это детскими пытливыми глазами. Карманы его штанов оттопыривались, набитые камнями и причудливыми корешками, мир, окружающий его, был светел и юн. Он шел вдоль берега, выискивая красивые камешки. В воде они казались удивительно красивыми, радужными, а высохнув, тускнели и прятали свои краски под мутной пленкой.

Он чуть не наступил ногой на маленький камешек, необычный своей формой. В первый миг ему показалось, что это очищенное ядро грецкого ореха, но, подняв и внимательнее рассмотрев, увидел, что это просто розовый камень, изборожденный симметричными извилинами. Одна из них, самая глубокая, делила камень на две равные части.

— Интересно,— сказал он вслух.— Что же это такое? Минерал? Окаменелость? Надо покопаться в справочниках.

— Я тебе покопаюсь,— услышал он тоненький голос, исходящий из камня, как голос Буратино из полена.— Сколько можно?

Юра чуть не выронил камешек и вдруг Все вспом-

нил... Всю свою жизнь до того дня, когда на машине «Скорой помощи» его привезли в больницу и уложили на операционный стол.

Он крепко зажал камень в ладошке и спросил:

— Пинаться будешь, Ванюшка?

— В зависимости от контекста,— сказал Философский Камень, щекоча ложноножками ладонь.— Разожми руку, вундеркинд задрипанный!

Юра разжал пальцы, и Ван Чхидра Асим, проскользнув амебой по руке, мягко спланировал на берег, распустив псевдокрылья. Оправившись от недолгого полета, он приобрел Торжественную форму и изрек менторским тоном:

— Ну вот и все, Юрий Петрович Оленев. Все. Договор исполнен. Пришла полнота времени. Ныне отпускаю.

— Как?— не понял Юра.— Разве я нашел твою потерю?

— То ли да, то ли нет,— вздохнул Ванюшка.— Должно быть, опять тупиковый ход. Но я рассчитал правильно. Ты и твои близкие сделали все, чтобы найти моего братика. Один вопрос: мой ли это брат? Но это уже мои личные проблемы. Придется искать заново... Но как похож! Близнец, да и только!

— Где же он?— недоуменно спросил Оленев.— Откуда он взялся? Я его не находил. Может быть, его нашла дочь? Жена? Отец? Кто?

— Все вы,— сказал Ванюшка.— Неужели не понятно? Все были Искателями, все, как собаки, рыскали всюду, а ты шел впереди, обнюхивал все следы подряд, пробовал на вкус, вспугивал дичь, замирал в стойке, раздувал ноздри, шевелил ушами, вытягивал хвост, сучил лапами, распахивал глаза и выращивал, выращивал моего братца... И тут пришел час икс, все параллельные линии, которыми вы шли, сошлись в одной точке, кулинарное искусство дочки, пряности жены, ди-

агноз тещи, мел в руках отца и так далее, без конца. Известняк!

Ванюшка раздался вширь и ввысь, очеловечился и превратился в того самого дедушку, что жил у Чумакова: строгий черный костюм, белая манишка, хмурый взгляд из-под седых косматых бровей. В раскрытой ладони он держал бугристый, белесоватый с розовым оттенком камешек — маленькую копию обнаженного человеческого мозга.

— Это он,— печально сказал Ван Чхидра Асим.— Он самый. Камень, извлеченный из твоего желчного пузыря — редчайшая разновидность подобных камней. Известковый. Я искал тайну сотворения Вселенной, но нашел лишь одну из тайн сотворения жизни на Земле. Это он не давал тебе покоя, рос, как младенец в утробе, и мой брат Чумаков извлек его на свет...

— Странно,— перебил Юра,— даже глупо. Перелопачивать пространство, завихрять время, обладать способностями делать все из всего, сводить с ума стольких людей, походя совершить переворот в медицине и... пошлейший камень в глупейшем желчном пузыре! Это же курам на смех! Философский Камень в желчном пузыре!

— И курам тоже. И тебе — петуху. Я же говорил, что жемчужные зерна могут встретиться в навозной куче с некоторой долей вероятности, пусть и ничтожно малой.

— Разве что в басне или в сказке... Нет, сплошная чушь.

— Твоя дочка искала и в сказках. Ничто не случайно, Юрик. Все века своей квазиз жизни я искал истину, каждый раз находил ее и тут же терял, ибо смысл ее заключается в том, чтобы никогда не попадать в руки. Этот камень обладает невероятными свойствами, он почти что Философский, и его может создать только человек ценой своей собственной крови, а то и жизни. Впрочем, ты будешь жить. Договор я расторгаю, и пе-

ред тобой две возможности, две ветви времени: остаться тринадцатилетним пацаном, пройти мимо меня и прожить свою жизнь иначе, или проснуться в больнице после операции, запомнив почти все, что было с тобой в этой жизни, но утратив память обо мне и бесчисленные знания, приобретенные тобой за двадцать лет с моей помощью.

— Две? Но почему ты лишаешь меня знаний? Разве я их не заработал?

— Ты нарушил Договор. Я предупреждал тебя, но, по-видимому, причинно-следственный механизм развернул свои шестеренки именно в ту сторону, какую ты выбрал сам. Ты влюбился. Ты обнажил свои знания. Этого достаточно.

— А Териак? Ребионит? Это тоже будет забыто?

— Ищи его сам. Ты человек, тебе и решать человеческие судьбы. Тебе и другим людям. Кончится твоя зазеркальная жизнь, но ты и твои близкие забудут все те пути, по которым блуждали в поисках истины.

— Дочка? Отец? Жена? Это останется?

— Не знаю,— покачал головой Ван Чхидра Асим.— Этого я не знаю. Время слишком ветвисто, эту жену я выбрал для тебя сам, а твое дело искать. Человек, который не ищет, мертв. Человек, который не сомневается в истинности выбранного пути,— лишь полчеловека, человек, не умеющий страдать и любить,— не человек, а компьютер. Выбирай, Юрик.

И тут камешек в его руке шевельнулся, подпрыгнул на ладони и, на глазах меняя форму и размеры, превратился в близнеца Ван Чхидры Асима. Они стояли рядом, в своих черных костюмах, как зеркальные отражения, и испытующе смотрели на малолетнего вундеркинда, который растерянно молчал, думал и выбирал.

Две ветки времени. Два пути, ведущие к разным судьбам, и каждый из них ветвился и множился на ты-

сячи других, как тропы, проложенные в степи. Тысячи непрожитых жизней, миллионы вариантов.

— Выбирай,— сказали старики.— Выбирай, мальчнк, а нам пора...

Они взялись за руки, потом обнялись и елились в одно целое, а потом, на лету приобретая Вездесущую форму, исчезли, растворились, испарились, и тут же накатила ночь, налетел легкий южный ветер, застрекотали кузнечики, звездное небо распахнулось над головой, пришла полночь, а от нее вел только один извечный путь — к рассвету.

Каким бы он ни был.

И РАСПАХНУТСЯ ДВЕРИ

Фантастическая повесть

*Из круга жизни, из мира прозы
Вы взброшены в невероятность.*

В. Брюсов

Он погиб в конце лета. Сильный и уверенный в себе, бросился в реку, не успев скинуть одежду. Быстрое течение отнесло его тело далеко от пяточка пляжа, где в тот вечер он сидел под шляпкой грибка и читал книгу. Он заложил ее листком подорожника, не зная о том, что она так и останется недочитанной.

Собака породы боксер по имени Джеральд лежала рядом, то и дело отрывая голову от остывающего песка, словно проверяя, на месте ли хозяин.

Лето было на излете, на пляже редкими кучками сидели и лежали люди, кое-кто плескался у берега, не рискуя в такой час заплывать далеко.

После того как все это случилось, осталось два истинных свидетеля его гибели. Один из них был собакой, а словам второго не верили, с негодованием обвиняя в причастности к смерти хорошего человека. Свидетелем, или виновником, была девушка. Ее звали Жанна. Она заплыла на середину реки, поддерживаемая легким надувным кругом. Смерть ей не грозила, правда, вода была холодная, и впоследствии Жанна рассказывала, как свело ноги, она перепугалась, что течение вынесет на стремнину, и не ее вина, что парень, а вслед за ним и собака, кинулись в реку.

— Все это, может быть, и правда,— говорили ей,— но мы тебя знаем. Ты специально хотела привлечь вни-

мание людей, чтобы позабавиться их растерянностью. И даже более того,— говорили ей,— ты кричала свое шутовское «помогите» именно для него. Ты взбалмошная и злая, тебя бесило, что он не обращал на тебя внимания, не был влюблен, как многие, а ты привыкла, что парни провожают тебя задумчивыми взглядами, добиваются любви и даже дерутся, когда ты умело натравливаешь их друг на друга.

— Нет,— плакала она, покусывая кончик выгоревшей пряжи,— нет, я на самом деле перепугалась и даже не знала, что он был на пляже. И разве я думала, что именно он бросится в реку, ведь на берегу было много людей.

— Мы знаем тебя!— кричали ей.— Нас не проведешь! Ты весь вечер увивалась возле него, строя глазки, а он читал книгу, поглаживал собаку, и это тебя взбесило.

— Все было не так,— оправдывалась она,— я пришла на пляж одна, с другой стороны, заплыла на реку выше по течению и не могла видеть его. Я ни в чем не виновата.

— Бездарная актриса,— шипели бывшие подружки,— судьба наградила тебя красивым телом и пустой головой. Ты разыгрывала роль утопающей, начитавшись идиотских романов. Ах как романтично, решила ты в тот вечер, благородный и прекрасный юноша, презрев опасность, спасает тебя от смерти, а ты, бездыханная, лежишь на песке, притворно прикрыв веки, он склоняется над тобой, пытается привести в чувство, прикасается губами к твоему лицу, а ты только и ждешь этого, чтобы, красиво и томно простонав, распахнуть лживые глаза, слабо улыбнуться и обвить руки вокруг его шеи.

— Неправда,— устало качала она головой.— Это ложь. Я никогда не добивалась его любви. Я никого не любила, и не моя вина, что я красива и много парней

ухаживало за мной. Да, я смеялась над ними, но при чем здесь он?

— Я пытаюсь понять вас,— говорил его отец после похорон,— я хочу простить вас, но у меня ничего не получается. Он был моим единственным сыном, наследником всего, что у меня было и есть. Вы молоды и красивы, зачем вам понадобилось отнимать у меня последнюю надежду и опору? Он даже не успел жениться, не успел подарить мне внука, чтобы не оборвался наш род. Возможно, что вы не виноваты, но вы не рисковали жизнью, а он был беззащитен. Я потерял двух детей, жену, а теперь вот его. Это жестоко.

В темном платье с глухим воротником, с опухшим, но все равно красивым лицом, стояла Жанна в двух шагах от отца погибшего и уже не находила слов для оправдания. Слова иссякли, а слез еще было много.

Пес по имени Джеральд тосковал по хозяину. Неизвестно, винил ли он кого-нибудь, но, может быть, тоже мучился совестью, не менее острой, чем человеческая. Забравшись под опустевшую кровать, он поскуливал и тоненько подвывал, словно вспоминал тот вечер и реку, вынесшую его на сушу, промокшего до последней шерстинки, но так и не вернувшего хозяина. Вода украдала знакомый запах, голос, ласковую руку. Джеральд часто уходил из дома, обнюхивал холодный песок, прибитый осенними дождями, и, ложась под грибок, долго и пристально глядел на остывающую воду, коротко взвизгивал и напиргал лапы, когда всплескивала рыба...

Поляков был обыкновенным человеком. Точнее — почти обыкновенным, потому что у каждого человека на земле есть свои особенности, выделяющие его из череды многих. Миша Поляков работал кочегаром в маленькой котельной при большом НИИ один раз в неделю, еще два дня его можно было застать дома, а на остальное время он уходил неизвестно куда, но к оче-

редному дежурству никогда не опаздывал, спускался в подвал по запорошенным черной пылью ступенькам, где за железной дверью ровно гудели две топки, справа — куча угля, слева — подъемник для шлака, а за бурой грудой окаменевшего дерева скрывалась еще одна дверь, ведущая в комнату для отдыха. Там стоял топчан, застланный троллейбусными сиденьями, стол и две табуретки.

Работа была в общем-то простая. Изредка подкидывать уголь в топки, регулировать поток воды и воздуха, выбирать шлак из поддувала до по утрам проводить генеральную чистку, раскопегарив хорошенько уголь, чтобы не мерзли капризные сотрудники НИИ. Работа была сезонная, от октября до мая, и, получив расчет поздней весной, Поляков честно отсиживал традиционный сбор в кочегарке, где собирались все сменщики, но не пил с ними, а сидел в стороне, попивал чаек, улыбался в ответ на шутки и колкости пьющих собратьев, а на другой день исчезал из города или, может, просто сидел взаперти дома, не открывая никому, и на звонки не отвечал.

Собственно говоря, интересоваться Поляковым было некому. Родители у него умерли, братьев и сестер не было, и, дожив до тридцати лет, он так и не обзавелся новой семьей, а о бывшей жене не вспоминал. Были, конечно, приятели и соседи, знавшие Полякова в лицо и по имени, но все они, обремененные своими делами и заботами, не вникали в странную жизнь Михаила.

Начальство его ценило, в смену Полякова было тепло, а если и заходил кто-нибудь из инженеров в кочегарку, то никто не видел Мишу грязным и нетрезвым, а наоборот — видели в чистом комбинезоне, сидящим за столом и читающим что-нибудь.

По сравнению с другими кочегарами это выглядело необычно, и если не в меру любопытный инженер Хамзин, отвечающий за исправность котлов и насосов, лез с расспросами к Полякову, тот охотно поддерживал

разговор, но за грубоватыми манерами кочегара скрывалось желание не выделяться из среды коллег.

В день получки Хамзин непременно заходил в кочегарку для осмотра отопительной системы, а на самом деле приносил бутылку в кармане полушубка и все пытался налить стаканчик Полякову, но тот неизменно и вежливо отказывался. Хамзин особо не огорчался, равномерно вливал в себя прозрачную жидкость и, пьянея, плакал даже, уткнувшись лицом в мягкие большие ладони. Иной раз он пытался кинуться в топку, но печь была слишком маленькой и не впускала в себя грузное тело инженера. Правда, опалив брови и волосы, Хамзин одумывался и, трезвея, совал голову под кран, а потом засыпал на топчане. Поляков спокойно переносил все это, от печи Хамзина не оттаскивал, зная наперед, чем это кончится, а ближе к ночи, насытив топки щедрыми лопатами «бурого золота», осторожно подвигал Хамзина к стенке и, ложась рядом, быстро засыпал, не обращая внимания на храп и беспокойную возню соседа.

Хамзин был инженером и, разумеется, считая себя выше простого кочегара, называл его на «ты», грубил, а находясь в дурном расположении духа, распекал за какой-нибудь пустяк, но Поляков не вступал в перепалку, вежливо соглашался и быстро исправлял оплошность. Остальные кочегары скандалили, огрызались, не чурались запоя и потому казались Хамзину нормальными людьми, а вот что за человек Поляков, он понять не мог, и это раздражало...

Наверное, это и зовется ностальгией. Глупо заблудиться в редком лесу, еще глупее пробегать мимо своего дома и не узнавать его. Бывают такие тягостные сны: идешь по городу, а улица изменяется на глазах, принимает новые формы, дразнит знакомым запахом, но никак не превращается в ту единственную и долгождан-

ную. Я все более смутно представляю себе, каким должен быть мой мир. Я ничего не забыл, но образы других миров наслаиваются, деформируют истинный его облик, и то и дело ловишь себя на том, что невольно принимаешь ложное за истинное и наоборот. Впрочем, жить можно повсюду, даже в плену и рабстве, тем более что моя теперешняя жизнь не так уж и тяжела. Меня любят, обо мне заботятся, мои новые знакомые хоть и сильно отличаются от прежних, но пути эволюции подчиняются не правилам, а сплошным исключениям из них, поэтому обижаться не на кого, и, как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, я все же склонен считать ее счастливой.

К сожалению, в этом мире тоже нет настоящего симбиоза между разумными, а здешние существа, похожие на меня, считаются собственностью хозяев — единоличных владетелей своей смехотворной Вселенной. Но не мне судить об изменчивых законах, я вынужден подчиняться им, если дорога к дому потеряна и чужие запахи постепенно становятся родными.

Сначала я полагал, что прорыв через границу совершило много подобных мне, я встретил их по ту сторону моего мира, но оказалось, что все они тупиковые ветки и не способны даже к членораздельной речи. Я пытался вступить в контакт с людьми, но первый же чуть не убил меня от страха за свой рассудок. Еще бы! Легче убить непонятное, чем попытаться постичь его своим жалким умом.

Тогда и началось мое бесконечное блуждание по мирам в поисках своего, так и не найденного, и неизвестно, придет ли тот день, когда...

Девушка по имени Жанна попыталась умереть. Она училась в институте, где преподавал тот, кого она нечаянно погубила, и ей объявили бойкот. Даже парни, любившие ее или делавшие вид, что любили, не подхо-

дили к ней и не заговаривали. Все восхищались погибшим. Его уважали студенты, коллеги ценили за живой ум и большие знания. Ему прочили большое будущее. Он был красив, остроумен, добр. Нежен с отцом, щедр с друзьями, благороден с девушками. После смерти его часто вспоминали, и постепенно память о нем обросла легендами, полуправдивыми и благожелательными.

Выходило так, что смерть уничтожает лишь тело человека, но возвеличивает его тень и придает блеск его былым отражениям.

Все молча расступались перед Жанной, уступали ей дорогу и так же молча поворачивались спиной. На лекциях никто не садился рядом с ней, но посылали записки, едкие и жестокие. Она старалась не замечать этого, ходила, высоко подняв голову, в подчеркнуто ярких платьях, смеялась невпопад и на записки не отвечала.

Но однажды, после самых обидных слов, высказанных в лицо: «Уж лучше бы ты, чем он...» — она не вынесла отчуждения и ненависти тех, кто раньше преклонялся перед ней. Она проглотила все таблетки, какие нашлись в комнате общежития, и легла в постель, не забыв перед этим разметать чисто вымытые волосы по белоснежной подушке и надев красивое платье. Одну руку она свесила вниз, другую положила на грудь. Записку оставила на видном месте. Крупные скачущие буквы говорили о том, что она ни в чем не виновата, но и в смерти своей никого не обвиняет, и если этот поступок хоть немного искупит несуществующую вину, то пусть ее похоронят неподалеку от того, кого она полюбила по-настоящему и жить без которого уже не в силах...

Хамзин тоже был обыкновенным человеком и тоже с маленькими странностями. У него болела душа. Болела давно и остро, не давая ему ни передышки, ни побряжки. Все приносило Хамзину боль: тяжелое тело, склонное к болезням, гневливая и мелочная жена,

мстительная теща, давно осточертевшая работа. Институт ему дался легко, и на работу он быстро устроился, да и невелика была хитрость в таком ремесле: изобретенные двести лет назад паровые котлы в принципе оставались одними и теми же, разве что с небольшими оговорками. Работу свою он знал, но не любил. Жил с женой и тещей и, успев узнать их досконально, тоже не любил. И виделся ему в этом некий философский смысл, о чем он неоднократно заводил разговор с Поляковым.

Гремя сапогами по гулкой котельной, он расхаживал от топки до кучи угля, заглядывал в насосную, и почему-то ему очень не нравилось, когда Поляков закрывал дверь в свою комнатенку. Наверное, ему казалось, что Поляков избегает его, старается отгородиться тонкой подвижной доской, подвешенной на скрипучих петлях, и всегда распахивал дверь настежь, когда осматривал котельную. Поляков на это только усмехался, углублялся в чтение очередной книги и раздражения своего не показывал.

Потом Хамзин грузно усаживался на табуретку и начинал разговор. Он ни с кем не говорил так много и никому не изливал душу так, что казалось — вся она вытекает из ран невидимой, но осязаемой до острой боли сердцевины человека.

— В любви,— говорил он обычно,— никогда нельзя доходить до конца, иначе это будет концом любви. Всегда должна оставаться недосказанность, хоть маленькая, но тайна, а в противном случае уничтожается сама суть любви. Мы любим не человека, не дело свое, а то, что хотим видеть, что ожидаем от них, и подчас так и не дожидаемся. Вот ты,— говорил он, тыча пальцем в Полякова,— ты намного счастливее меня. Ты только и умеешь загребать уголек и бросать его подальше. Что тебе до начал термодинамики? А я знаю не только начала, но и концы этой дьявольской выдумки, оттого мне тошно, мутно и хочется напиться.

Поляков молча выслушивал его, заложив пальцем страницу книги, спокойно улыбался, но в спор не вступал, словно заранее соглашаясь со всем, что скажет Хамзин.

— Но нет!— говорил Хамзин, размахивая рукой перед лицом Полякова.— Нет, я тебя, чертяку, люблю не потому, что ты меня слушаешь! А потому, что я тебя совсем не знаю, хоть ты и вкалываешь у нас не первый год. Ничего в тебе понять не могу. Какой ты на фиг кочегар? Чистюля, трезвенник, книжки читаешь. Небось думаешь, что Хамзин неудачник, дурак простодырый, инженеришка несчастный, только и умеет, что в насосах гайки вертеть? А вот и неправда! Мы, Хамзины, никогда в последних не ходили, я еще покажу всем им, что мы, Хамзины...

При этих словах инженер обычно замолкал или нетвердыми шагами направлялся к топке, поэтому так и оставалось неясным, что такого особого могут Хамзины. Поляков включал чайник и раскрывал недочитанную книгу...

Добывание пищи здесь приравнивается к воровству, и единственный способ выжить для таких, как я,— это понравиться кому-нибудь из хозяев, тогда он возьмет тебя к себе, будет кормить, а взамен требовать выполнения своих несуразных желаний. Те, кто находил меня и пытался сделать своей собственностью, ожидали моей бесконечной благодарности за куски, что бросали со своего стола, и просили меня то лаять на чужаков, то прыгать на задних лапках, выпрашивая подачку, то поскуливать от сомнительного удовольствия, когда они запускали руку в мой загривок и почесывали за ухом. Бесполезно было объяснять им, что я способен на большее, и главное, довериться мне и поверить всему тому, что я мог бы рассказать. Неудивительно, что я сменил много хозяев, и печальная повесть моих странствий

вполне заслуживала бы отдельной книги, но речь не об этом.

Я понял, что поначалу мучило меня, не давало покоя и превращало скитания в бесконечную пытку. К сожалению, явление более чем банальное — стереотипы мышления. Все привычное кажется простым и потому единственно приемлемым. Я привык, что разумная жизнь существует только в форме симбиоза, и уже предвзято наделил чертами хаоса иную жизнь, тогда как мне пришлось убедиться, что истинный симбиоз — не более чем эксперимент природы и вариантов разума столько же, сколько миров.

Наши отношения еще сохраняют свежесть новизны и каждодневных открытий. Теперь мы одни, и наши беседы носят характер бесконечного диалога, в котором мы пытаемся связать воедино звенья разрозненных цепей и найти истину, движущую мирами. Вот так, не более и не менее. Высокопарно, но очень точно...

Жанне не дали умереть. Токсикологи знали свое дело и довольно быстро поставили ее на ноги. Она еще долго болела, но бледность лица даже шла ей. Красота не подчинялась ни болезни, ни самой смерти. Она казалась неистребимой. После этого случая многие простили Жанну, хотя и находились люди, усмотревшие в ее поступке бездарное актерство и расчетливость. «Могла бы и утопиться», — говорили о ней, но уже не так ожесточенно, а скорее насмешливо.

Внешне Жанна не изменилась, но переживания и близость смерти сделали ее неузнаваемой. Теперь она сама отворачивалась от тех, кто презирал ее, и холодным взглядом отграничивалась от вновь появившихся поклонников. Только ее мать простила сразу несуществующую вину дочери и поняла все, но после выздоровления Жанны уехала в свой родной город, а здесь не было никого, с кем бы Жанна могла поделиться.

Быть может, поэтому она приходила на могилу погибшего и, сидя на скамейке, придумывала заново его жизнь, свою любовь к нему и даже разговаривала с тем, кого почти не знала раньше. Там она встретилась со стариком и собакой. Не жалея нового плаща, она встала на колени и разрыдалась. Боксер деликатно отошел в сторону, а старик смущенно хмыкнул и сказал:

— Что за выкрутасы, милочка? Могильная земля холодна, вы простудитесь, встаньте, пожалуйста. Вот и Джерри вас просит,— он поискал взглядом собаку.— Перестаньте, я стар, и поступки молодых девушек мне непонятны. Ну полноте, я не виню вас.

— Что я смогу сделать для вас?— спросила Жанна.— Вам тяжело одному, хотите, я буду помогать вам?

— Я не один, у меня есть Джеральд. Но если хотите, то можете приходить к нам в гости. Мы постепенно привыкнем к вам и не будем судить так строго. Но вы молоды, а любовь к умершему не может быть вечной. К тому же у вас впереди долгая жизнь, у нас же все позади...

Так Жанна стала посещать этот дом, стараясь хоть чем-то заменить старику умершего сына. Отец держался с ней несколько отстраненно, но без раздражения и позволял заходить в комнату сына, где все оставалось без изменения. Джеральд не косился на нее, не рычал, но и гладить себя не разрешал, передергиваясь, словно от брезгливости. Обижаться на собаку было глупо, а старику она старалась угодить чисто вымытым полом, вкусным обедом и выглаженной рубашкой.

Она все время боялась, что со стариком что-нибудь случится, что он не выдержит горя и одиночества. У него часто болело сердце, но он держался стойко, никогда не жаловался, и только по бледности лица и по запаху мяты можно было догадаться об очередном приступе.

Старик жил уединенно. То ли потому, что пережил всех своих друзей, то ли оттого, что еще не закончился траур и он избегал обнажать горе при чужих. Ему было

за шестьдесят, худой, высокий, с седой головой, с пристальным взглядом светло-серых глаз; не лишенный странностей и причуд своего возраста, он чем-то напоминал Жанне ее отца. Он мало разговаривал с Жанной, в основном бросал ни к чему не обязывающие фразы, но она часто слышала, как он, уходя в дальнюю комнату, подолгу говорил что-то собаке и даже смеялся приглушенно или громко возмущался, восклицая: «Нет! Ни за что!» Он ничего не рассказывал о себе и своей семье, но на стенах висели фотографии, и Жанна, неторопливо вытирая пыль, всматривалась в незнакомые лица, пытаясь соединить разрозненные отпечатки времени в непрерывный поток. Это удавалось плохо...

В комнате стоял круглый столик на точеных ножках и маленький диванчик с полузабытым названием — канapé. На нем сидели еще дедушка с бабушкой Полякова, и фотография на стене в черной, словно бы траурной, рамке подтверждала это. Из глубины десятилетий смотрели на Полякова мужчину и женщину. Они сидели на новом обитом шелком диванчике с гнутыми ножками, свет отбрасывал блики от брошки в виде полумесяца на груди у бабушки. У дедушки были густые усы и тщательно уложенные волосы, открывающие лоб, а взгляд его, светлый и теплый, не то улыбался, не то печалился чему-то. Была там еще одна фотография, более поздняя. Там дедушка и бабушка стояли. Бабушка, постаревшая, с усталым лицом, опиралась левой рукой на бутафорскую балюстраду, правая рука по локоть скрывалась в муфте, и брошка была другая — два цветка из прозрачных камушков на черном воротнике. Дедушка заложил руки за спину, сменив сюртук на китель штабс-капитана. Усы стали длиннее, и кончики их немного загибались кверху, а лоб казался выше и шире. Изменился взгляд — он стал холодным, неприятным, словно бы фотограф был его личным врагом, и не вери-

лось, что через минуту, пробираясь к выходу через нерассеившееся облачко магия, дедушка молча откланяется и даже, быть может, улыбнется суетливому мастеру.

Были там и отцовские фотографии, все довоенные, были и мамыны разных лет. Поляков не убирал их со стен, они давали ему ощущение родства и нерушимой связи с теми, кто давно ушел неизвестно куда, оставив после себя не только стареющие вещи, но и его — Мишу Полякова.

Отец погиб на последней войне, в самом начале, окруженный чужаками в гиблых литовских болотах, где не то захлебнулся, не то, пытаясь прорваться с кучкой уцелевших солдат, наткнулся на автоматную очередь. Мать умерла не так давно от инфаркта, не выдержав многолетней борьбы с одиночеством и тоской по несбывшемуся счастью.

На круглом столике стоял граммофон, тщательно ухоженный Поляковым. Латунная труба, похожая на цветок белены, всегда была бережно начищена, сам деревянный ящик покрыт свежим лаком, и когда Михаил ставил на диск истертую пластинку и приводил в движение туго закрученную пружину, то из трубы, воскрешенные стальной иглой, раздавались голоса умерших людей, музыка, давным-давно рассеянная в атмосфере, но продолжающая жить, как старые фотографии, вещи, воспоминания.

Бывшую жену Михаила раздражало это искаженное временем пение, где и слов-то разобрать было невозможно, а имена людей, когда-то заставлявших содрогаться стальную мембрану своим голосом, ни о чем не напоминали.

Прошлое, тем более чужое, просто не существовало для нее. Был город, были очереди в магазинах, муж, мать, недавние школьные годы, зубная боль, забываемая через день, а все то, что волновало умерших людей, что было их духом и плотью, ради чего они не ща-

дили себя и обрекались на смерть — все это давно умерло и воскрешению не подлежало.

Молодая жена так и не привыкла к чужому прошлому, а свое будущее лепить не научилась, и Поляков сделал то, что сделал. Однажды он сказал, что сам увезет жену к ее родителям, она не поверила, но он начал упаковывать вещи, а потом пришли его приятели с грузчиками и погрузили на машину все то, что они успели купить вместе, не уступив ничего из тленного наследия предков.

Жена плакала и просила прощения за вину, которой сама не понимала, а дело было пустяковое: она выбросила дубовую кровать, на которой Миша Поляков был зачат в счастье и рожден в муках, купив взамен нее нормальный современный диван с полированными подлокотниками.

В слезах она корила его за то, что мертвые вещи, весь этот хлам и смрад ему дороже ее самой, он не спорил с ней и решения своего не изменил.

Оставшись один, он уходил в старую комнату, листал толстые книги в шагреновых переплетах, слушал невнятные отголоски прошлых времен, и казалось, что это еще живо для него, словно бы он сам забежал в фотографию Лапина на Дворянской улице 1914 года перед отправкой на Западный фронт, и вот в новеньком мундире поручика, умытый и свежий, уселся в кресло, сложив руки на скрещенных ногах, и слушает музыку, доносящуюся из соседнего кабака, а затем встанет и выйдет из кадра, чтобы пережить окопы, газовые атаки, ранения, тела друзей, разрывающих своей тяжестью колючую проволоку, а потом, дальше, ощутить сдвиг, ломку, испытать голод, отчуждение, сомнение и, наконец, решиться на свой последний шаг. Тот шаг, что сдвигает человеческую судьбу раз и навсегда, после которого — или бесславная гибель, или трудное, мучительное восхождение к цели, еще невидимой, лишь предощущаемой, но отвергнутой им в тот осенний день,

когда, зацепившись рукой за поручень переполненного вагона, он тщательно искал глазами жену и сына, чтобы хоть взглядом, хоть последним взмахом ладони проститься с ними навсегда.

Бывший штабс-капитан Владимир Поляков в шинели с отпоротыми погонами ехал туда, откуда не было возврата. Жена, сын, Отечество оставались позади. С каждым перестуком колес он мысленно прощался с ними, глядя в окно на плывущую мимо Россию, клял свою судьбу, но так и не решился выпрыгнуть из поезда.

Он умер в эмиграции, и лишь фотографии на стене да латунный цветок белены, хрипящий о прошлом, напоминает о нем, словно умолая о прощении, будто предупреждая о том, что неверный шаг делается только раз.

Жена его, Мишина бабушка, сама воспитала Сашу, и тот выбрал свой путь, свою любовь и не изменил ей до последнего часа, когда ливонские болота сомкнулись над головой.

Он не вышел из окружения. Провокатор, переодетый красным командиром, вывел их маленький отряд прямо на огонь немецких автоматов. Александр Поляков, измученный бессонницей, голодом, раной в левой руке, подчинился приказу старшего командира, и никто теперь не узнает о его сомнениях, о том шаге, на котором споткнулся и он, потеряв бдительность на короткие полчаса, решившие судьбу двенадцати человек. И судьбу Миши Полякова, и матери его, и тех людей...

Михаил не был чужд увлечениям молодости. Любил веселые компании, влюблялся, был начитан и остроумен; работая на заводе, приобрел хорошую специальность и доброе имя. Друзья редко бывали у него дома. Сначала он избегал шумных сборищ из-за больной матери, потом из-за того, что гости нарушали незыблемую жизнь вещей, и чаще всего сам просиживал вечера у приятелей или гулял допоздна с девушкой, так и не ставшей его второй женой.

С ним случилось то, что изменило его жизнь, заставило бросить завод, устроиться в кочегарку и стать тем самым Поляковым, тайну которого столь тщательно пытался разгадать инженер Хамзин...

Он сразу понравился мне. Я понял, что он тот человек, кому можно рассказать обо всем накопившемся за годы одиночества, с кем стоит поделиться и попросить совета. Он не станет укорять свой свихнувшийся разум и не бросится на меня, как на причину своих бед, решил я, когда он привел меня в свой дом. Но все равно, зная по опыту, как удивляет людей мой голос, я очень осторожно поблагодарил его за обед и придвинулся к выходу. Он только слегка вздрогнул и ответил неизменившимся голосом: «На здоровье». — «Прощу вас, — сказал я, — не пугайтесь. Я не совсем тот, за кого вы меня принимаете, но здесь нет ничего противоестественного и тем более колдовского. Просто я — это я, и если я вам не буду в тягость, то можете сразу сказать мне, я уйду». — «Я не пугаюсь, — улыбнулся он, — я лишен суеверий. Но помните, Мефистофель впервые явился Фаусту в виде черного пуделя?» — «Как видите, я не пудель, — пошутил я, — и смею заверить вас, что никакого отношения к так называемой нечистой силе не имею». Помнится, я еще цеременно раскланялся при этих словах. Он рассмеялся и широким жестом обвел комнату: «Искренне рад, располагайтесь как дома. Мне часто не хватает собеседника». — «Мне тоже, — признался я, — я уже столько лет ни с кем не разговаривал. У вас есть существа, схожие со мной, но они недоразвиты, а люди полны предрассудков. Для них если не дьявол, то пришелец, на большее фантазии не хватает». — «Надеюсь, — сказал он, — вы мне расскажете о себе, когда будет желание, но я не тороплю вас. Пойдемте, я представлю вас своему отцу». — «А он?... — усомнился я. — Отец?» — «Ни в коем случае, — снова рассмеялся он, — он уже давно

ничему не удивляется». Он привел меня к старику и сказал: «Познакомься, папа, это мой новый друг. Он будет жить у нас».— «А он не храпит по ночам?»— спросил старик и недоверчиво посмотрел на меня. «О нет,— сказал я как можно вежливее,— я абсолютно здоров».— «Тогда все в порядке,— сказал старик, несколько не удивляясь,— угости его получше. Что вы предпочитаете на ужин?»— обратился он ко мне. «О, я неприхотлив,— заверил я,— и привык обходиться малым. Странствия на чужбине приучили меня ограничивать желания».— «И далеко ваша родина?»— спросил меня старик. «Трудно сказать,— ответил я,— это расстояние не измеришь километрами и парсеками. Может быть, она рядом, просто я не знаю, где находится дверь в нее».— «Дверь, ведущая на родину,— повторил старик.— Это интересно...»

На стене висели фотографии в новеньких рамках, но там были люди другого поколения, и не только одежда отличала их от предыдущего, даже лица были иные, ибо время всегда оставляет отпечаток, оно только кажется однородным и равнодушным, а на самом деле, как великий скульптор, никогда не повторяет себя и свои творения.

Три большие комнаты с высокими потолками и лепными фризами выходили окнами во двор, где всегда было сумрачно и сыро.

Старый дом с кариатидами и львиными масками на фасаде стойко переносил тяжесть десятилетий, чопорно держась в стороне от многоэтажных железобетонных близнецов.

В одной из комнат жил старик с собакой, куда он приглашал Жанну, усаживал на дубовый стул с резной спинкой и угощал чаем с вареньем. Свои длинные волосы Жанна заплетала в косу; догадываясь, что это понравится старику, и старалась одеваться скромнее.

Вторая комната принадлежала погибшему сыну. Ее Жанна особенно тщательно приводила в порядок, не меняя расположения вещей и книг, словно хозяин только отлучился на время из дома и вот-вот должен вернуться.

Но была еще одна комната, в которую Жанну не допускали. Об этом старик не говорил вслух, но Джеральд всегда преграждал ей дорогу, когда она дотрагивалась до литой бронзовой ручки двери. Именно туда уходил старик с собакой и оттуда доносился его голос, словно он громко беседовал с кем-то, но слов собеседника не было слышно. Мебель, книги, ковры поглощали шум, и только изредка до Жанны доносились пение и отголоски чьих-то шагов, заглушенные шорохом помех.

Даже не пение, а скорее странные звуки, напоминающие поющие голоса. Словно откуда-то издали, искаженная расстоянием и эхом, звучала мелодия, и чей-то знакомый, но неузнаваемый голос вплетался в нее прихотливой рвущейся нитью.

В эти часы Жанна уходила из дома не прощаясь, осторожно захлопывала дверь и даже не пользовалась лифтом, слишком шумным и старомодным. Она остро ощущала свою чужеродность этому дому, будто бы тот вежливо выпроваживал ее, чтобы скрыть что-то, принадлежащее только ему одному.

Жанна не обижалась на скрытность и некоторую холодность старика. Кажется, он простил ей невольную вину, во всяком случае, не укорял и о том летнем вечере не вспоминал ни разу.

Джеральд перестал убегать на пляж, а когда Жанна прогуливалась с ним вдоль реки, не смотрел на воду с укором и надеждой и близко к берегу не подходил.

— Джеральд, Джерри,— говорила ласково Жанна,— хоть ты Расскажи мне, что здесь у вас творится. Ну, миленький, ты же умный, ты все знаешь, скажи мне.

Джеральд поворачивал к ней короткую большую

морду с черными брылами и, словно улыбаясь, молча высовывал розовый язык. И Жанна понимала, что Джерри, как настоящий член этой семьи, никогда не выдаст...

Он, по-видимому, приходил и раньше, но не заставлял его дома. Это чувствовалось по уверенному, нетерпеливому стуку в дверь. Михаил сидел в комнате деда и по обыкновению своему слушал старую пластинку. Он никого не ждал в гости, но, посомневавшись, все же пошел открывать. Сдвинул пружину замка и распахнул... На лестничной площадке никого не было. Он повертел головой и увидел собаку. Пожал плечами и прикрыл за собой дверь.

— Пойдите!— услышал он чей-то странный голос из-за двери.— Не закрывайте. Это я стучал.

Поляков снова открыл дверь и посторонился, потому что собака вбежала в прихожую.

— Ты чей?— спросил Поляков, не ожидая ответа.

— Я ваш друг,— ответила собака, глядя прямо в глаза.— Не бойтесь, я не кусаюсь.

— Я не боюсь,— сказал Поляков.— Это ты разговариваешь?

— О нет!— воскликнула собака.— Я проглотил магнитофон.— И добавила:— Шутка, конечно.

— Я понимаю,— сказал Поляков.— Я люблю шутки. Будем шутить дальше?

— Можно и позабавиться, но цель моего визита достаточно серьезна,— произнесла собака, дожидаясь, когда ее пригласят в комнату.

Что Поляков и сделал жестом руки.

— Чай, кофе?— спросил Михаил.— Сахарную косточку?

— Благодарю вас, я сыт,— ответил пес, усаживаясь в кресло на поджатые задние лапы, а передними упираясь в пол.— Михаил Поляков, если я не ошибаюсь?

— Да,— согласился Поляков.— А вы посол собачьей республики?

— Продолжаем шутить,— спокойно отметил пес.— Ну что ж, шутка — это хорошее лекарство против страха.

— Да нет же,— засмеялся Поляков,— я и в самом деле не боюсь. Конечно, не каждый день приходят говорящие собаки, тем более такие воспитанные.

— Пустяки,— отмахнулся пес,— в конце концов, я не такая уж собака, как это кажется с первого взгляда.

Собачий голос лишь отдаленно напоминал человеческий. Скорее он походил на те искаженные голоса, которыми говорят герои мультфильмов, и порой слова звучали неразборчиво.

— Так чем я могу служить?— осведомился Поляков.

— Отныне я вас нарекаю Виктор-Михаил,— изрек пес.— Вам нравится?

— Не смешно,— сказал Поляков.— Зачем мне второе имя?

— Первое,— не согласился пес.— Впрочем, это неважно. Конечно, немного иная судьба, другие впечатления детства, привычки,— короче — различия в фенотипе, но генотип тот же самый. Вы родились в сорок первом году, вашего отца звали Александром, мать — Ольгой. Так?

— Так,— кивнул Поляков.— Что еще вас интересует?

— Степень вашего знакомства с топологией.

— Нулевая. Я не знаю, что это такое.

— Тогда придется пояснять на пальцах.

— На чьих?— рассмеялся Михаил...

Странно, но я не потерял надежды вернуться в свой мир, если невольно придаю размышлениям форму дневника. Я заблудился, но нелепо обвинять в этом судьбу, ибо она не фатальность, а лишь неосознанная необходимость.

Нам было легче. Эволюция развернула высшие орга-

низмы лицом к лицу, у нас не было дилеммы: мы или они, симбиоз сразу же поднялся на самый высокий уровень — уровень мышления. Мы развивались и совершенствовались как единый биосоциальный организм и сумели избежать многих ошибок других миров. Нам хватило своих. Но, по крайней мере, мы, а не кто-либо другой, первыми узнали о самозащите Вселенной и научились проникать через межклеточную мембрану миров.

Формы симбиоза знакомы всем мирам, и здесь я видел множество его проявлений, но чаще всего он принимает черты паразитизма и нахлебничества, вырождаясь чуть ли не в самом начале. Так отношения человека и собаки все больше превращаются в отношения хозяина и паразита, хотя низший симбиоз человека-убийцы и собаки-ищейки не исчез окончательно. Сначала я был удивлен разнообразием собак в чужих мирах, у нас они однотипны и разделяются только на ряд рас, подобно людям. Но потом понял, что прихоть человека давно заменила природную целесообразность. Все эти собаки лишены речи, что неудивительно, — у них слишком длинные лица и слишком гибкие языки. Только здешние боксеры, похожие внешне на нас, способны научиться произношению нескольких несложных слов. Но насколько они...

Старик впервые отлучился из дома и оставил ее одну, вернее — с собакой. Сказал, что должен уйти по делам, а Жанна, мол, может побыть здесь, погулять с псом, подготовиться к занятиям и вообще — пусть она чувствует себя как дома. Жанна удивилась, но вида не подала; закончив уборку, она ушла в комнату погибшего, давно уже ставшую и ее комнатой, забралась с ногами в кресло и открыла книгу, взятую наугад с полки. Собака лежала у ног, было тихо, толстые стены не пропускали уличного шума.

Не читалось. Ее не оставляло ощущение, что в квар-

тире кто-то есть. С большой фотографии на стене смотрел погибший. Черная ленточка еще не снята с уголка портрета. Он смотрел сквозь стену, и казалось, что ему видится то, чего живому знать не дано. Джеральд шевельнулся и насторожил уши. Потом медленно встал, потянул воздух и коротко проворчал.

— Джерри,— тихо сказала Жанна,— здесь кто-то есть?

И тут она услышала невнятное пение из дальней комнаты. Кто-то пел под затухающую мелодию знакомую, но неузнанную еще песню.

— Джерри,— прошептала Жанна, склоняясь к собаке.— Кто там?

Джеральд молча посмотрел ей в глаза своим слишком умным для собаки взглядом и снова проворчал что-то себе под нос. Жанне послышались неразборчивые слова в этом ворчании.

— Что-что?— удивилась она, но Джеральд вильнул хвостом, толчком распахнул дверь, и только стук когтей по паркету указал его путь.

Когда Жанна подбежала к двери с бронзовой ручкой, то увидела, что она закрыта, словно собака, забравшись туда, плотно прикрыла за собой створку. Решившись однажды на смерть, пережив ее мысленно, Жанна разучилась бояться, и ее удерживал не страх, а стыд. Она ничего не обещала хозяину, он не запрещал ей бывать в этой комнате, но она твердо знала: этого делать нельзя.

Оттуда, из-за тяжелой высокой двери, доносилось пение Шаляпина. Его знаменитая «Блоха». Слова, стертые временем, звучали невнятно, но бас певца заглушал скрипы и шорохи старой пластинки. Входная дверь надежно заперта, квартира на четвертом этаже, высота исчислялась немалыми метрами, и ни карниза под окнами, ни водосточной трубы рядом. Значит, тот, кто завел граммофон, находился в комнате с утра, и старик знал об этом. Значит, он специально оставил Жанну

наедине с незнакомцем, чтобы она разобралась во всем этом, без подсказки и объяснений. Так рассуждала она, стоя у дверей, убеждая себя в необходимости сделать решающий шаг.

— Джерри!— нарочито беспечно позвала она.— Куда ты делся, проказник?

Собака приглушенно заворчала, потом Жанне послышался мужской голос и снова — собачий скулеж, на этот раз громкий и долгий.

— Джерри!— крикнула она.— Что ты там делаешь?

И рывком потянула на себя дверь. Но она не открывалась. Замка здесь не было, захлопнуть ее было невозможно, тогда Жанна потянула сильнее и вдруг поняла, что дверь держат изнутри.

— Джерри, открой дверь!— упрямо воскликнула она.— Что за вредная собака! Заперлась в комнате, завела граммофон и не открывает. Ты, может, и куришь там? Вот гляди, все расскажу хозяину!

И дверь распахнулась. Бас Шаляпина не вмещался в узкой латунной трубе и метался по комнате, отражаясь от стен. Собака лежала на маленьком диванчике с изогнутыми ножками и молча смотрела на Жанну. Ей вдруг показалось, что Джерри подмигнул и насмешливо выгнул угол пасти. Больше никого в комнате не было. И без того небольшая, она была заставлена старой мебелью. Жанна остановилась в дверях.

— Кто здесь?— спросила она.

Клубы табачного дыма медленно втягивались в полуоткрытую форточку. Стараясь держаться непринужденно, Жанна подошла к граммофону, остановила диск. Спрятаться человеку было практически некуда. Джерри проворчал и коротко гавкнул, глядя в сторону.

— Не ворчи,— сказала Жанна,— все равно пожалею, что ты куришь без спроса.

Рассеянным взглядом она скользнула по стенам и вздрогнула.

Со старой фотографии пристально смотрел на нее

погибший в новенькой форме поручика, сложив руки на скрещенных ногах, двуглавый орел на пряжке отсвечивал начищенной бронзой, шашка плотно прилегала к бедру, и казалось, что сейчас человек выйдет из кадра, спустится на улицу 1914 года и уйдет к вокзалу, откуда вот-вот с пением труб и грохотом барабанов поезд медленно повлечет его на запад, и бог весть какие судьбы ждут...

Предназначение. Словно и в самом деле досужие драматурги сочиняют наши судьбы, а от нас зависит только исполнение роли. Бред собачий, как выражаются люди. Вечная привычка сваливать свои недостатки на других. Самое страшное — это бред человека, а бедная сивая кобыла вообще не умеет бредить, она слишком проста для такой изощренности.

Предназначение и предопределение неравнозначны друг другу. Первое — причина внутренняя, вторая — внешняя, а значит — заведомо ложная, ибо не было, нет и уже явно не будет независимой силы, правящей Вселенной. Она просто не нуждается в этом.

Чем дольше я скитаюсь, тем больше убеждаюсь в том, что основная цель разума — это спасение. Или спасание, как будет угодно. Вселенная только кажется вечной и нерушимой, на самом деле она хрупка и уязвима. Она ошеломляет нас кажущейся бесконечностью, ослепляет вспышками сверхновых звезд, ошарашивает миллионами неразгаданных тайн, но больше всего она похожа при этом на испуганную кошку, шипящую перед щенком-молокососом. Мы тоже ее часть, и значит, наше предназначение не только в постижении мира, но и в спасении его от гибели и разрушения. Не только своей планеты, а всей необозримой Вселенной.

И можете послать меня к чертям собачьим, если я не прав...

Он ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. Она сама виновато склонила голову и сказала:

— Простите, но вышло так, что я зашла в ту комнату. Так получилось.

Старик беспокойно вскинул голову.

— Ну и что же, милочка? Разве это запрещено? Или вас там что-нибудь напугало?

Старик напрягся и задержал дыхание.

— Что вы, конечно, нет!— сказала Жанна.— Джерри забежал туда, я просто пошла за ним, задержалась на минуту и вышла.

— Ах, Джерри!— воскликнул старик и вопросительно посмотрел на собаку. Та отвернулась и молча ушла в другую комнату.— Ах, Джерри!— повторил старик.— И какую же пластинку он поставил?

— «Блоху» Шаляпина,— сказала Жанна и осеклась.

— Да, это его любимая запись,— произнес старик, поглаживая подбородок.— С ним ничего не случилось? Впрочем...

Он покружил по комнате от окна к двери, словно напряженно пытаюсь вспомнить что-то, шевеля у лица длинными пальцами, и, приблизившись почти вплотную к Жанне, вдруг зашептал:

— Умоляю вас, никому ни слова. У меня могут отнять его, я не позволю, я не переживу этого. Обещайте мне, что никому...

— Что с вами?— Жанна дотронулась до его руки.— Успокойтесь, пожалуйста, я пообещаю вам что угодно, только не волнуйтесь. Не надо. Ну, пожалуйста. Я ничего не знаю, я никому не скажу, только успокойтесь.

— Да-да, конечно,— засуетился старик,— пойдете, я вам все объясню. Джерри, где ты? Иди сюда, надо все рассказать. Я ей верю, она не предаст, она его любит, я вижу: она его любит. Джерри, где ты?

Он крепко сжал руку Жанны и потянул за собой к двери с бронзовой ручкой. Ей стало не по себе.

— Может, не надо?— неуверенно говорила она.— Я ничего не хочу знать. Так будет лучше, не надо.

Старик, не слушая ее, распахнул тяжелую дверь, чуть ли не силой усадил Жанну в кресло и наклонился над ней.

— Вот. В этой комнате жили мои родители. Они умерли, навсегда умерли, везде умерли. Вот это мой отец,— он протянул руку к фотографии поручика.— Он очень похож на моего сына, вы не находите?— И, не дождавшись ответа, продолжил:— Да, сын даже отрастил эти старомодные усы, я знаю, над ним подсмеивались, но он никогда не терял живой связи с дедом, никогда. Даже когда мой отец умер. Здесь все осталось так, как было при его жизни. Он воевал в первую мировую, дослужился до штабс-капитана, потом революция, война, разруха, он чуть не уехал в эмиграцию, но остался. Все его друзья погибли. Они думали, что умирают с честью, а он живет в позоре, но получилось наоборот: это он избрал более трудный путь, он, не они. Вы понимаете, мой отец сделал выбор. Это очень важно — сделать нужный выбор в нужное время. И не ошибиться! Главное — не ошибиться!

— Я понимаю,— сказала Жанна,— я все хорошо понимаю, вы садьте, успокойтесь, и я вас выслушаю. Вам нельзя волноваться.

— Да, так о чем я?— задумался старик, отходя к окну.— Джерри, где же он? Ушел, наверняка ушел.

— Он не мог уйти,— возразила Жанна.— Входная дверь закрыта.

— О, при чем здесь дверь? Он не может найти только дверь, ведущую к его родине, а все остальные для него открыты настежь. Он как сквозняк гуляет по Вселенной. Как сквозняк.

И старик замахал руками, изображая ветер.

— Я принесу вам лекарство,— сказала Жанна.

— Не надо! Я не болен,— старик стоял к ней спиной, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник.—

Мне шестьдесят три, несправедливо, что я пережил всех, я живу назло самому себе. Я много раз был на краю гибели,— при этих словах он распахнул окно и свесился с подоконника,— вот как на этом окне, одно неверное движение — и смерть.

— Не надо,— сказала Жанна.— Это опасно.

— Ну да,— согласился старик тихим голосом,— смерть. Я чуть не остался навсегда в болотах. На всю жизнь запомнил лицо этого провокатора. Его труп засосала трясина, с чавканьем, сыто рыгнув напоследок. А я вот жив. Сын мой, последний сын погиб.

— Это я виновата...— сказала Жанна.

— Нет, нет!— махнул рукой старик.— При чем здесь вы? Вы — это случайность, его гибель — закономерность. Мой сын не мог поступить иначе. Он сделал свой выбор. Вы знаете, какую книгу он читал в тот вечер? «Опыты» Монтеня. Он подчеркнул ногтем фразу, я запомнил ее наизусть: «В последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству, приходится говорить начистоту и показать, что за яство в твоём горшке...» Это был его любимый автор. Джерри тоже любит Монтеня. И Гельвеция любит, и Эразма, и Рабле... Странный вкус. Великий спаситель... Впрочем, я устал, я лягу.

Старик сник, ссутулился, шаркающими шагами дошел до своей кровати и тяжело сел. Жанна принесла таблетку валидола, он молча взял ее и рассеянно мял в пальцах, прежде чем положить под язык.

— Если хотите, я останусь с вами. Вдруг вам будет хуже?

— Хуже не будет,— невнятно произнес старик.— Оставляйтесь, комната сына в вашем распоряжении. Вы на самом деле любите его?

— Мне кажется, что да, но я почти не знала его раньше.

— Узнаете,— сказал старик.— Он вам понравится. И еще. Почему бы вам не родить мне внука?

— Внука?— удивилась Жанна.

— Да, наследника.

— Но как?

— Как, как! — передразнил старик. — Не знаю уж, как там женщины рожают, это ваше дело.

— Спокойной ночи, — сказала Жанна, выключая свет.

Старик не ответил...

Жанна выросла в маленьком провинциальном городке, давно переставшем быть селом, но так и не доросшем до гордого названия «город». Он бережно хранил свои дощатые тротуары, поскрипывающие под ногами, длинные тесовые заборы, почерневшие от времени и дождей, дома, непохожие один на другой, с ветхой резьбой наличников и ржавеющим кружевном водосточных труб. Таким и запомнился родной город — срезанный купол церкви, превращенной в пожарную каланчу, бревенчатый мост через мутную реку и белые облака над мертвым монастырем.

Она и в самом деле была красива. Высокий рост, легкая поступь, откинутаая назад голова с распущенными светлыми волосами заставляли невольно замедлить шаг и проводить ее взглядом.

Конечно, в нее влюблялись. И ровесники, и парни постарше. В маленьком городке-недоростке она казалась самой лучшей, самой недоступной и потому желанной. Она никому не отдавала предпочтения, ей нравилось дразнить парней броской красотой, разученным у зеркала летящим взглядом, рассчитанным жестом обнаженной руки.

После школы Жанна хотела остаться дома, но родители и старшие сестры уговорили ее поехать в большой город учиться дальше. Ей было все равно, в какой институт поступать, и она подала заявление в первый попавшийся по дороге с вокзала. Экзамены сдала без труда и конкурс выдержала без волнения, а свой успех

приписала эффектной внешности. Но город, казалось, не замечал ее красоты, он жил своей жизнью, многоликой и самоуглубленной, к тому же красивых девушек было намного больше, чем в ее родном городке, и она сразу поняла, что пришла пора менять тактику.

Жанна быстро изменила привычки, манеру одеваться, разговаривать, жадно впитывая все то новое, что мог ей дать город.

Ко второму курсу она добилась своего — ее негласно признали самой красивой и недоступной девушкой института. Теперь она могла себе позволить делать то, что некрасивым не прощалось — опаздывать на занятия, прогуливать лекции и на экзаменах добиваться хороших оценок не столько глубиной знаний, сколько оригинальностью ответов и обещающими взглядами.

Она добилась того, чего хотела — о ней говорили, ее замечали, ее имя вызывало противоречивые толки, короче, как ей казалось, она жила полной жизнью.

А сама она так и не знала, что ей нужно от жизни. Все давалось легко: знания, внимание окружающих, здоровое сильное тело, дарованное природой надолго, — этого было и много, и мало одновременно.

Не хватало чего-то главного, мучительно ощущаемого, как наличие пустоты внутри ее самой, которую ничем не удавалось заполнить.

И то, что случилось в тот вечер, не зависело от ее воли и желания, но, как ей казалось впоследствии, природа, не терпящая пустоты, подарила ей то, в чем она неосознанно и остро нуждалась...

Я даже не кухонный философ, а подкроватный. Лежу на своем любимом месте у кровати, вытянув морду на лапы, и размышляю неторопливо о том и об этом. Вспоминаю, анализирую, сочиняю афоризмы, которые тут же опровергаю, ибо любая мысль, выраженная одной фразой, уже является ложной, потому что истина не суще-

ствуется в дистиллированном виде. Она разнолика и неуловима (конечно же, этот мой афоризм об афоризме тоже лжив).

Тогда я все-таки убедил его. Сделать это было не так трудно. Я хорошо изучил его характер еще до его смерти. А то внешнее, что зависело от фенотипа, легко снялось, как одежда. Труднее было научить его переходу через межклеточную мембрану. У него не выходило, он нервничал, недвусмысленно называл меня шарлатаном, но потом мы нашли подступ к границе, и стало легче. Ему помогла неутраченная связь с прошлым, часто это действует лучше, чем психическое сверхнапряжение. Немудрено, что сначала мы попали не в ту дверь, к счастью, там никого не было. Потом мы нашли нужную дверь. Конечно, их встреча была не для слабонервных, но они оба с честью выдержали...

Он именно появился, а не пришел. Она даже не заметила, как он лег на свое любимое место у кровати.

— Ага,— сказала Жанна,— явился, гуляка. Есть хочешь?

Пес положил тяжелую морду на вытянутые лапы и прикрыл глаза.

Она впервые проводила ночь в этом доме, и, как всегда, на новом месте не спалось. Тогда она села в кресло с ногами, закуталась пледом и зажгла свечу. Было тихо, Джеральд вздрагивал на своей подстилке, sny гнались за ним по пятам. Обостренное зрение улавливало в тенях неясные колеблющиеся формы, отсветы от застекленных портретов скользили по стенам. Слух отсеивал ночные шорохи, а воображение приписывало им тайный смысл. Мысли свободно скользили от одного предмета к другому, и если бы в городе жили петухи, то давно бы им пришла пора возвестить о предвещающем рассвете.

Она задремала. Сон сливался с явью, и Жанна так и не поняла, то ли она проснулась, то ли, напротив, соскользнула в сон, еще более глубокий и путанный.



Она увидела человека, повернувшегося к ней спиной и что-то ищущего в ящике письменного стола. Человек передвигался бесшумно, было похоже, что здесь ему все знакомо и он забежал на минуту, не боясь спящей собаки и чужой девушки. Жанна натянула плед до подбородка и молча наблюдала за ним. Свеча догорала. Казалось странным, что Джеральд, чуткий и недоверчивый пес, спокойно лежит у кровати, мерно и глубоко дыша во сне. Осторожно высвободив ногу, Жанна дотянулась до теплого бока и шевельнула собаку. Она не просыпалась, тогда Жанна толкнула сильнее, и в это время человек повернулся к ней лицом.

Так они и смотрели друг на друга. Жанна, замершая в кресле, с обнаженной ногой, протянутой к собаке, и человек, тот самый, чье тело, напитанное холодной водой, было похоронено на городском кладбище в конце лета.

Она сразу узнала его. Щеточка старомодных усов, высокий лоб, теплый взгляд светлых глаз. Он стоял, замерев, словно его застали на месте преступления, в неудобной позе — согнув спину и повернув голову.

— Вам неудобно стоять, — сказала Жанна. Голос подрагивал и был хриловат со сна.

— Ничего, — ответил он, помедлив. Выпрямился, спрятал в карман листок бумаги и молча сел на стул. — Не бойтесь, — сказал он, помедлив. — Я не причиню вам зла.

— Я не боюсь. Почему вас прячут от всех? Разве вы совершили преступление?

— Да. Я утонул. Закон природы нельзя нарушать. Это и есть преступление — быть живым и мертвым одновременно. А вы та самая девушка, которую я не смог спасти?

— Мы немного знакомы. Я была вашей студенткой, просто вы меня не замечали.

— Возможно, — сказал он. — У меня слабая зрительная память. Особенно на девушек. Это не обижает вас?

— Нет. Я рада, что вы живы. Я хожу к вам на могилу. Вам нравится памятник?

— Не знаю,— улыбнулся он.— Не видел.

— Я помешала вам?

— Нет. Я не хотел пугать вас. Мертвецов бояться больше, чем живых.

— Боятся неизвестного, а я вас знаю. Вы такой, каким я вас себе представляла. И право же, я очень рада, что вы живой,— повторила она.

— Вы ошибаетесь. Я действительно утонул.

— Вы двойник того погибшего?.. Брат-близнец?

— Я и есть тот самый. Утопленник.

— А кто же там похоронен?

— Прошу вас, не задавайте вопросов. Я отвечу только то, что можно ответить. Я похоронен там. Но я не пришелец с того света, не призрак. Просто здесь меня не существует. Даже для вас. Запомните это. Для всех я умер.

— И для вашего отца?

— Для него я живой и... мертвый в то же время. Он слишком любит меня и готов поверить всему, даже самому невероятному.

— Я тоже вас люблю. И тоже верю. Мне неважно, почему вы живой и куда уходите. Главное, что вы не умерли... навсегда.

— Тише, говорите, пожалуйста, тише. Вы разбудите отца. Он не должен знать о нашей встрече. Обо мне знают только собака и он.

— И я. Знаю давно. Я чувствовала это. Вы должны уйти?

— Да, я должен уйти. Не говорите никому. Отец боится, что вы расскажете обо мне.

— И что же будет, если об этом узнают?

— Нельзя делать то, чего делать нельзя,— усмехнулся он.— Я уйду, но приду к вам потом. Вы не против?

— Вы разбудите его граммофоном.

— Я научился обходиться без него... У вас анали-

тический ум. И вы бесстрашная девушка. Я думал, что вы упадете в обморок.

— Не обольщайтесь. Я упаду. Потом. Сейчас просто некогда.

— Желаю удачи,— сказал он,— ждите меня завтра. Привет Джеральду. Пусть он не притворяется спящим.

— Он тоже любит вас. До завтра.

— Ложитесь в постель. Она ваша.

— Хорошо. Я попробую заснуть.

Дверь бесшумно закрылась за ним. Шагов она не слышала. Задула ненужную свечу и забралась под одеяло.

— Тебе же сказали — не притворяйся спящим,— сказала она.— Все равно у тебя уши шевелятся.

— Может, по-вашему, мне их нужно отрезать?— произнес пес из-под кровати.

— Ну вот,— вздохнула Жанна.— Старики пророчествуют, мертвецы оживают, собаки разговаривают. Что еще?

— А еще Вселенная делится как инфузория,— подумав, сказал пес.

— Как туфелька?— спросила Жанна.

— В том числе.

— Все ясно. Спокойной ночи.

— Какая уж ночь,— проворчал пес.— Утро на дворе...

Стучал в дверь, обитую мягким дерматином, неустанно звонил, прислушиваясь, как гулким эхом множится стук по лестничным площадкам, как истерично звенит звонок по ту сторону двери. И терпеливо ждал, хотя ждать давно не имело смысла.

Горечь, скопившаяся в душе, начинала подступать к горлу. Некуда было выплеснуть ее, и некому облегчить непрерывное страдание. Хамзин не выдержал на-

растающего одиночества в доме, населенном опостылевшими родными, ставшими чужими, и близкими, давно ушедшими на расстояние крика.

И он пришел к Полякову. Тот не дежурил сегодня, но должен выйти на работу утром, вот Хамзин и решил, что этим вечером его можно застать дома, и поэтому не хотел верить в тщету своих надежд.

Бешеное терпение его было награждено металлическим скрежетом задвижки. Дверь распахнулась, и Хамзин поспешно перешагнул порог, словно боясь, что его не впустят. Поляков не удивился позднему гостю, молча отстранился, уступая дорогу, и так же молча закрыл дверь.

Вскипающие слова теснились в гортани, мешая друг другу. Хамзину хотелось плакать, и говорить, и кричать истошно. Он не стал раздеваться, а прямо в полушубке прошел в комнату и, не глядя, опустился с размаху в кресло. Старое дерево жалобно скрипнуло под его монументальным телом.

— Мишка,— выдохнул он,— дай выпить.

Поляков повозился у буфета и протянул стакан. Хамзин нежно погладил граненое стекло.

— Мишка, помоги. Конец мне.

— Можете пожить у меня. Это вас спасет?

— Нет,— вздохнул Хамзин.— Куда я от них денусь? В Антарктиде найдут.

— Тогда разводитесь. Еще не поздно.

— Да что ты! Живьем съедят, а не выпустят.

— Послушайте, Иван Николаевич, а может, вы сами виноваты в своих бедах?

— Конечно,— охотно согласился Хамзин.— И чего, дурень, женился? Завидую я тебе, Мишка, ни жены, ни тещи, ни детей. Сам себе царь. Налей-ка еще.

Он выпил второй стакан и по обыкновению своему стал рассказывать то, что уже давно было известно. Слова легко и плавно перетекали одно в другое. Хамзин выпускал их на волю, и от этого становилось про-

зрачнее и светлее на душе. Он говорил о своей неудавшейся судьбе, о непоправимости ошибок, совершенных в юности, о горечи и обреченности надвигающейся старости. Поляков слушал его, не перебивая, и постепенно в Хамзине крепла надежда, что он нужен кому-то, что его горечи и печали близки и понятны другому человеку, а значит, жизнь еще не проиграна и стоит того, чтобы за нее держаться. Желательно — покрепче.

Оживая, он поднялся и походил по комнате, разглядывая мебель.

— И не скучно одному? Небось привечаешь кого-нибудь? Знаю я тебя, хитрый ты, Мишка, себе на уме. Девчонку прячешь, ага?

Он решительно распахнул дверь в другую комнату.

— Куда ты ее дел? А здесь-то рухляди! И охота тебе барахло беречь?

— Вам стало легче? — спросил Поляков вместо ответа. — Вот и хорошо.

— Винцо у тебя, Мишка, классное. Сразу полегчало. Сыпани-ка еще стакашку. Да ладно, не суетись, я сам.

Хамзин прошел к буфету и взял в руки бутылку. Повертел, удивительно вскинул брови.

— Откуда такое? Сколько лет пью портвейн, а ни разу не видел, чтобы он через «а» писался. Почему «партвейн»?

— Не знаю. Опечатка, наверное.

— Ничего себе опечаточка, хоть в музей ставь... И вкус странный... На кого работаешь, Мишка? — спросил он заговорщическим шепотом. — Возьми в долю, — и довольно расхохотался.

— На науку работаю, — улыбнулся Поляков. — Научных работников обогреваю.

— Ох и врешь ты, Мишка, ох и заливаешь! И где это ты целыми днями пропадаешь? Как ни придешь, а тебя дома нет.

— Следите за мной?

— А что! И слежу. Я тебя люблю, вот и хочу знать, кто ты такой.

Поляков начал нервничать, хмурясь и топорща светлые усы, но вслух раздражения не выказывал, терпеливо ожидая, когда инженер оставит его в покое.

А Хамзин почувствовал себя уверенным и непогрешимым. Ни дома, ни на работе он не мог позволить себе такой свободы. Дома была жена, пресекающая любые попытки самоутверждения, и теща, разящая наповал презрительной репликой. А Поляков, как всегда, не отвечал на грубость грубостью, не вступал в словесные перепалки и неизменно называл его на «вы», что очень льстило Хамзину, привыкшему слышать панибратское «Ванька» даже от подчиненных. Вино ударило в голову, было легко и свободно. Хотелось петь или хотя бы смеяться. Он удобно развалился в кресле-качалке, покачивался, болтал ногами, и та самая радость, что сродни детскому крику «ага, вот ты где!», не покидала его.

— Вертишь хвостом!— грозил он пальцем.— Хитрущий же ты! Раз в неделю уголек покидаешь и свободен. И живешь как король, и никому не подчиняешься. Сам себе хозяин.

— Я вам подчиняюсь,— сказал Поляков.

— Не юли!— захохотал Хамзин.— Ты мне на работе подчиняешься. А здесь кому? А ну-ка, давай отвечай!

— Никому... Хотите еще вина?

— Па-а-ртвейна?— спросил Хамзин.— А воточка у тебя есть?

— Есть. Только немного.

— А ну-ка покажи,— потребовал Хамзин.

Поляков раскрыл дверцу буфета и вынул початую бутылку. Хамзин взял ее в руки, повертел так и этак, похмыкал, понюхал и недоверчиво сделал маленький глоток.

— Ну, даешь!— сказал он, вытирая рот рукавом.— Ну, Мишка, ну, фокусник! И где ты такие диковины

берешь? Ведь черным по белому написано — **вотка**. Это на каком языке?

— На русском,— сказал Поляков.— Только принцип орфографии другой. Называется фонетический. Произношение не меняется, а для обучения удобно. Это экспериментальная орфография.

— Опять ты выкручиваешься!— закричал Хамзин.— Эксперименты в умных журналах печатают, а не на водочных этикетках! Дуришь меня как мальчика! Не позволю!

— П-а-а-зволите,— жестко сказал Поляков.— Куда вы денетесь? И не пора ли домой?

— Ты как со мной разговариваешь?— возмутился Хамзин.— Щенок.

— Не кричите на меня. Надоело. Завтра на работе будете кричать. Там вы начальник, а здесь — гость. Не забываетесь.

— Это уж мне решать,— гневно возразил инженер и допил бутылку.— Домой не поеду. Буду ночевать у тебя. Стели-ка постель.

— Хорошо,— сказал Поляков и ушел в другую комнату.

Настроение у Хамзина опять испортилось. Детская радость, наполнявшая его только что, быстро выветрилась, и осталось пьяное раздражение и сонливость.

— Я постелил вам,— сказал Поляков.— Ложитесь и спите. Утром разбужу.

Хамзину стало тоскливо и душно. С ним не считались, его не жалели, он всех раздражал, и даже кочегар Поляков повысил голос и распоряжался им, как хотел.

— Не пойду,— упрямо произнес он.— Буду спать здесь. Сидя. Мне так нравится. Ты меня не уважаешь.

— Не уважаю,— подтвердил Поляков.

— А почему? — вскинулся Хамзин.

— А не за что. Вы не умеете уважать других, поче-

му же я должен уважать вас? Хочется спать — спите здесь. Я пошел. Спокойной ночи.

— Куда?!— закричал Хамзин. Он испугался, что сейчас останется один, и горечь, с новой силой разливаясь в теле, подступит к горлу. Чужая квартира была слишком чужой без хозяина.

— В другую комнату,— усмехнулся Поляков.— Спать.

— Ты меня покидаешь,— обреченно сказал Хамзин.— И ты меня покидаешь. Бросаешь на произвол. Как и все.

Ему хотелось плакать, и он заплакал, по своему обыкновению уронив тяжелую голову в крупные ладони.

Поляков постоял молча и закрыл за собой дверь.

— Не смей закрывать двери,— сказал Хамзин сквозь слезы.— Мне страшно.

Дверь открылась, но никто не вышел. Было слышно, как Поляков ходит там в темноте, потом заскрипели пружины, и пришла тишина. Если бы в этой квартире была топка, то Хамзин непременно бы пошел к ней и попытался кинуться в ее огнедышащее жерло, чтобы испепелить опостылевшее тело и превратить в невесомый дым боль одиночества. Но топки не было, а втискиваться в духовку газовой плиты казалось глупым, поэтому Хамзин встал и, покачиваясь, пошел к окну. Надо было сделать хоть что-то, разрядиться, выплеснуться. Окно выходило в черный двор, только узкий квадрат неба высвечивался редкими звездами, и Хамзин легко представил себе, как он падает с высоты, медленно переворачиваясь в холодном воздухе, пока последняя секунда полета не соединит его с землей. Стало противно и жутко. Тогда он с размаху ударил кулаком о стену, чтобы ощутить физическую боль и вытравить душевную. Фотография, висевшая рядом, соскочила с гвоздика и упала на пол. Боль была тупая и слабая. Он сно-

ва занес кулак и снова ударил о дубовый угол буфета. Появилась кровь, немного отрезвившая его.

— Мишка!— заревел он.— Где ты?

— Я здесь,— услышал он незнакомый странный голос за спиной.

Он обернулся и увидел большеголовую собаку палевой масти. Короткий хвост, искривленные сильные ноги, умный взгляд карих глаз.

— Ну, что ты расшумелся, Ваня?— спокойно спросила собака.

— Во напился?!— изумился Хамзин.

— Я?!— возмутился пес.— И в рот этой пакости не беру...

Миров слишком много. Не знаю, удастся ли узнать даже приблизительное их число. Они существуют одновременно в разных плоскостях многомерного пространства, и все они — разветвления одного, первоначального. Вселенная подобна живой клетке, которая делится на части, абсолютно идентичные, но продолжающиеся развиваться независимо друг от друга. В этом непрерывном делении — залог бессмертия Вселенной. Она спасает себя от гибели как инфузория. Делится на две части, каждая из них еще на две и еще, до бесконечности. И если погибнут тысячи, то какая-нибудь непременно выживет и снова разделится, и снова... Я видел мертвые миры. Вселенские катастрофы, о которых люди даже не догадываются, уничтожают их, как огонь бумагу, деформируют время, свертывают пространство, но живы другие миры, живы. Чем дальше точка отсчета от разделения миров, тем больше они не похожи друг на друга. Вселенная, как и все сущее в ней, подчиняется законам эволюции. Мы научились преодолевать параллельные пространства, и ты проходишь сквозь границу, как соломинка через мыльный пузырь. Они соприкасаются друг с другом, взаимодействуют, и тогда по-

являются так называемые летающие тарелки — стык миров, проекция многомерного пространства в наше, трехмерное.

Многие разумные существа предчувствуют начало деления своего мира. Это легко доказать всем им на примере последнего разделения Вселенной. Оно произошло в 1914 году, в августе месяце. С тех пор миры-близнецы развиваются самостоятельно, но, разумеется, пока еще очень схоже. Причины вырастают в следствия, случайности возводятся в ранг необходимости, появляются новые пути, потом очередное деление... Ряд случайностей, накопившихся за десятилетия, привел к некоторым различиям между ними. И вот теперь я мотаюсь из двери в дверь по этим мирам и пытаюсь соединить людей, разобщенных случайностью. Я — спасатель, в этом моя основная цель и в родном мире и повсюду. Человек-хранитель и собака-спасатель. Две ипостаси единого разума моего далекого мира, дверь в который потеряна.

Вспомните начало века, говорю я, декаданс, брожение умов, сдвиг и деформация старого мира. Предчувствие конца света и зарождения нового. И вот начало деления. Мировая война. Революция. Потрясения. Рождение двух новых миров, разделенных, идущих своим путем. Подсчитайте, сколько раз повторялось подобное за всю историю...

— Я почти тот же самый, — сказал он Жанне, — но все же не тот. Я рос без отца, матери было нелегко, впрочем, моя судьба обычна для моего поколения. Мать тяжело болела, я пошел на завод, а после встречи с Джерри ушел и оттуда. Теперь я — кочегар, зато могу жить здесь большую часть времени, чем там, в родном мире.

— Почему ты не уйдешь сюда навсегда? — спросила Жанна. — Там ты одинок, а здесь твой отец и... я.

Поляков покачал головой.

— Это невозможно. Здесь я вне закона. Гримироваться, подделывать документы, лгать? Нет.

— Можно что-нибудь придумать. Объяснить, произошла ошибка, похоронен другой человек, а ты спасся, долго лежал в больнице, без сознания, выжил. Можно уехать в другой город.

— Нет,— повторил Поляков.— Там остались могилы родителей. Там, а не здесь — моя прошлая жизнь, моя судьба. Здесь я прожил одну жизнь и там должен прожить такую же, до конца.

— Это я,— сказала Жанна,— я виновата. Если бы я не заплыла в реку, если бы у меня не свело ноги, если бы тебя, вернее, его не оказалось на берегу, если бы он не бросился спасать...

— Дело не в этом. Любая случайность — это форма проявления необходимости.

— Я изучала.

— Да, необходимо сделать нужный выбор. Раз и навсегда сделанный выбор — это больше, чем личная судьба. Человек отвечает не только за себя, но и за своих близких, потомков, за их судьбы. В этом мире мой дед отказался эмигрировать, а в моем он уехал. Здесь мой отец прошел всю войну, а в том допустил ошибку: не распознал провокатора. Это погубило его и весь отряд. В этом мире я столкнулся на пляже с тонущей девушкой и утонул, но неужели ты думаешь, что я там не поступил бы точно так же? Кстати, я узнавал про тебя, так вот — тебя там нет.

— Совсем нет?

— Совсем. Твой отец не вернулся с войны. Мать и старшие сестры живы, а тебя там нет.

— Страшно представить. Другая жизнь. Как ты можешь там жить?

Поляков рассмеялся.

— Это близнецовые миры. Джерри водил меня по более далеким и чужим. Что же удивительного, если в

каждом из миров считают единственным только свой родной.

Они сидели друг против друга как и раньше. Жанна в кресле, он на стуле, положив одну ногу на другую, как на старой дедовской фотографии. Сидели и разговаривали. Джеральд тактично удалился из комнаты и, как знать, может быть вообще из этого мира.

— Ты не знаешь о том, что я люблю тебя?— спросила Жанна.

— Не меня,— улыбнулся Поляков.— И даже не того, кто погиб. Его звали Виктором, меня зовут Михаилом, но дело не в имени. Мы с ним очень похожи, пусть у нас разная судьба, но я и он — это один и тот же человек. Мы более близкие, чем близнецы. Ты просто придумала его, а по-настоящему полюбить не могла. Я знаю, тебя мучает вина, ты была готова искупить ее своей смертью, но разве смерть может быть искуплением?

— Нет,— твердо сказала Жанна.— И даже любовь не искупление. Я многое поняла с тех пор. Теперь я совсем другая. Он умер, не оставив сына. Пусть ты — это не он, но ты понимаешь, о чем я говорю.

— Этого не будет,— сказал Поляков, поднимаясь.— Быть может, ты лучшая девушка во всех мирах, быть может, я смогу сильно и навсегда полюбить тебя, но ломать твою жизнь — никогда. Меня не существует в этом мире, тебя — в моем, мы никогда не сможем быть вместе. Только в этой квартире, где я — гость, а не хозяин. И уж лучше совсем не иметь сына, чем обрекать его на сиротство.

— Неправда. Ты ведь сам рос без отца. Ты продолжение своего рода, а дальше — тупик, конец. И твой отец мечтает о наследнике.

— Я запрещу ему говорить об этом. Впрочем, он и сам должен понять... Это невозможно, Жанна.

Он погладил ее руку и улыбнулся. Виновато и грустно.

— Невозможно? Плохо ты знаешь меня, милый. Я не умею отступать.

Она вскинула голову, тряхнула светлыми волосами и победно улыбнулась. В дверь тихо постучались.

— Заходи,— сказал Поляков.

— Прошу прощения,— произнес Джеральд, проskalзывая в комнату.— Я вам не слишком помешаю?

— Не слишком,— сказала Жанна.— Никак не могу привыкнуть, что ты умеешь разговаривать. Вроде бы обычная собака.

— Обычная!— фыркнул пес.— Вы, девушка, типичный антропоцентрист. Этак вас послушать, и жить не захочется. Всюду люди, люди, а у нас собачья жизнь, что ли?

— Не преувеличивай,— сказал Поляков.— И успокойся: ты не обычный пес. Тебя забракуют, как непородистого. Хотя ты и похож на боксера, но уж очень большеголовый.

— Еще бы! Нашел чем упрекать — большим умом. Пора мне начинать движение за эмансипацию собак. Превратили их черт знает во что. Напридумывали экстерьеров и тешатся как дети. А собаки страдают. Только циничная раса могла придумать такой афоризм: «Собака — друг человека». Разве с друзьями так обращаются?

— Ну что ты, Джерри,— сказала Жанна.— Не каждый аристократ может похвастаться такими родословными, как наши породистые псы.

— Вот это и уничительно!— воскликнул Джеральд.— Собак разводят на племя, неугодных безжалостно топят, а кучка собачьей элиты бездельничает, паразитирует на человеке, служа его непомерному тщеславию. Да и она вырождается из-за постоянного инбридинга. А ведь они разумны! Пусть не в такой степени, как я, но разумны! Вы превратились в расистов! Я призову собак к бунту!

— Ну, это не твое собачье дело, Джеральд,— без-

злобно сказал Поляков.— Без тебя разберемся. И вообще, у тебя характер портится. Уже очень ты стал ворчливым. Не тоскуй, найдем мы твою заветную дверь.

— Черта с два,— огрызнулся пес.— Найдешь ее, как же...

Ему ничего не снилось, и голос, разбудивший его, отдался в голове болью. Не раскрывая глаз, Хамзин поморщился и перевернулся на другой бок.

— Пора на работу, Иван Николаевич,— повторил Поляков и осторожно потряс его за плечо.

— Пива дай,— сипло произнес Хамзин.

Бульканье жидкости, льющейся в стакан, оживило его. Приподняв голову, он жадно выпил холодное пиво и, медленно припоминая вчерашние события, спустил ноги с дивана.

— Уже вернулся?— спросил он.

— Откуда? Я спал в соседней комнате.

— Ну да! А пиво где взял?

— В магазине. Не сам же я его делаю. Стояло в холодильнике.

— Покажи!— потребовал Хамзин.— Бутылку покажи!

Поляков молча подал.

— «Саянское»,— прочитал Хамзин.— Трехдневное. Ладно, это наше. Но ты не выкручивайся, Мишка. Я от тебя не отстану, пока все не расскажешь и не научишь, как попадать в другое измерение.

— Не знаю, что вам снилось, Иван Николаевич, но при чем здесь я? Вставайте — и на работу. Мы опаздываем.

— Опять ты мне мозги пудришь!— закричал Хамзин.— Твой пес курносый во всем раскололся. Вы с ним шляетесь туда-сюда по разным мирам, как из комнаты в комнату, а других научить не хотите. Эгоисты! Я, может, погибну здесь.

— А розовых слонов не бывает?— спокойно спросил Поляков.— Пили бы вы поменьше, Иван Николаевич.

— Вот уж тебя не спросил!— возмутился Хамзин.— Тебе бы мою жизнь, щенок!

Поляков смотрел на него насмешливо, и Хамзин разозлился. В течение пяти минут он высказывал все, что думает о Полякове, тот молча выслушал его и спокойно сказал, что Хамзин-де вчера выпил лишнего и спал до утра не просыпаясь, только храпел сильно, но Поляков его прощает и ничуть не обижается. У Хамзина перехватило дыхание от гнева, он чуть не полез в драку, ругнулся напоследок и, хлопнув дверью, вышел в подъезд. На остановке его догнал Поляков.

— Вы не переживайте, Иван Николаевич,— сказал он.— Это бывает. Я тоже иногда вижу на редкость яркие сны и потом долго не могу отличить, где сон, а где явь. Сегодня, например, мне приснилось, что у меня растет сын Сашка и жена у меня красивая, добрая. Такой, знаете ли, логичный и яркий сон...

Хамзин нервно передернулся...

Я бегаю, как собака, высунув язык, держу нос по ветру, но не нахожу знакомого запаха. СбилсЯ со следа, все время кажется, что вот-вот из-за поворота пахнет родным ветром, лучшим во Вселенной. Я тоже родился на Земле, но где она теперь, та самая долгожданная земля, о которой кричали матросы с высоких мачт, которую долгие годы искал Одиссей, где она?

Передвижения в многомерном пространстве отличаются от путешествий в космосе именно тем, что неизменно попадаешь в аналогичную точку, в данном случае — на какую-нибудь из миллионов планет-близнецов — Землю. Но Земля Земле рознь, в бесконечных кривых зеркалах она та же и не та, каждый раз обманываешься знакомой деталью пейзажа, запахом, голосом, напевающим почти родную мелодию, и слабеют лапы, а

сердце бьется сладко и тяжело. Но вдруг на проселочной дороге встречаешь какого-нибудь ручного бронтозавра, запряженного в громыхающую повозку, и разумного игуанодона, глядящего из-под лапы на солнце... Не говоря уж о том, что есть миры, на которых так и не развилась органическая жизнь. Голые скалы, моря, грозы и ветры. Есть и такие, где жизнь уже отцвела. Это самые страшные планеты. Нерожденный ребенок вызывает лишь сожаление, но погибший в расцвете сил...

Это неверно, что Вселенная равнодушна и величава, что она не замечает копошения разумных микробов на своем бесконечном теле, ведь именно жизнь и как вершина ее — разум — призваны противостоять энтропии, рассеянию и уничтожению. Мы первые, а за нами и другие миры научатся переходу через границу, и тогда механизм самозащиты Вселенной придет к своему логическому завершению — разум отберет лучшее, что накопилось в бесконечных мирах за все время разделения, соединит миры и возьмет на себя уже посильный ему груз сохранения и спасения... И распахнутся двери, и свежий ветер пронесется сквозняком из мира в мир...

— Они везде ищут мистику,— сказал отец неизвестно о ком, брезгливо морщась.— Они мнят себя материалистами, но когда сталкиваются с непонятным явлением, тут же спешат объявить его мистической ложью. Они не пытаются исследовать неизвестное: еще бы, намного легче откреститься от него, чем утруждать голову тяжелой работой. Они подобны детям, закрывающим глаза ладонью и кричащим: «Я спрятался!» А ты похож,— сказал он, указывая на сына,— на мальчику, восклицającego: «Кто не спрятался, я не виноват!» Кому ты хочешь доказать? Кому? Тебя сразу же объявят неполноценным и отнимут у нас навсегда. Я запрещаю тебе.

— Я не могу по-другому, отец,— тихо сказал Поля-

ков.— Я не могу быть подлецом. Как же так, ты — честный и справедливый человек советуешь мне скрываться на чердаке, как дезертиру. Да, мы любим друг друга, я ничего не могу с собой поделывать, но вести двойную жизнь невыносимо. Жанна родит ребенка, она должна уйти из института, а я буду отсиживаться в своей тепленькой кочегарке. Нет, я уже сделал выбор.

— Это я виновата,— сказала Жанна.— Опять я. Получается так, что я снова приношу горе. Лучше будет, если я уеду к маме, она все поймет. Мы будем приезжать к вам в гости.

— Этого только не хватало!— возмутился старик.— Род Поляковых уже три поколения не покидает этот дом, а ты хочешь отнять у меня внука и сына! И запомните: здесь решаю я. Так вот, Жанна будет жить с нами, институт она не бросит, заботу о ребенке я возьму на себя, Джеральд мне поможет. Ты, Виктор-Михаил, найдешь себе еще какую-нибудь работу. Ничего. Если будешь бывать у них пореже, это тебе только на пользу. Умирать я не собираюсь, так что придется вам подчиниться мне.

— Но как же честь?— спросил Михаил.— Скажи мне, разве может мужчина уйти в кусты, когда запятнана честь девушки?

— Ну, вызови себя на дуэль, болван!— вскипел отец.— Или лучше меня, потому что я намерен жениться на Жанне.

— Ты?!— воскликнул Михаил.— Всем на посмешище? Она тебе во внучки годится.

— Не смей кричать на отца! Уж не думаешь ли ты, что я отбиваю у тебя жену?

Неожиданно Жанна рассмеялась.

— Ну надо же!— проговорила она сквозь смех.— Это гениальная идея! Александр Владимирович, вы гений! Как вы до этого додумались? Вот здорово! Миша, это самый лучший выход. Наш сын будет носить фамилию Поляковых, и никому не придется лгать. Никому!

И пусть над нами смеются, смех лучше позора. Ну какой же вы умница!— воскликнула она, обнимая старика.— Вы самый настоящий мужчина в целом мире.

— В целых двух мирах,— вздохнул Михаил и вытер платком лоб.

— Надеюсь, ты не будешь меня ревновать, сопляк?— высокомерно спросил старик.

И Поляков-младший облегченно засмеялся.

— Джерри! Где наш Джерри?— спросила Жанна.

— Где ему еще быть?— проворчал старик.— Носится по Вселенной, высунув свой болтливый язык. Он дождется, что когда-нибудь его изловят собачники и увезут на живодерню. А вот ты, Виктор-Михаил, не будешь моим сыном, если не поможешь найти ему нужную дверь. Человек без родины, что...

— ... дерево без корней,— закончил Михаил.— Знаю, папа. Я сделаю все, что смогу.

— Ничего ты не знаешь. Это человек, а речь идет о собаке. Мы его любим, но этого мало. Он совсем из другого мира, ему нужен только его симбионт, единственный и неповторимый, без которого Джеральд — всего лишь полтела и пол-ума.

— Я знаю,— повторил Михаил.— Я тоже ищу эту дверь...

На этот раз он пришел трезвый и тихий. Тщательно вытер ноги, молча прошел в комнату, осторожно погрузил свое тяжелое тело в кресло и попросил чая.

— Только, пожалуйста, без опечаток,— добавил он и покрутил в воздухе рукой.— Нормального чая.

Недоверчиво понюхав чашку, Хамзин поднял глаза на Полякова, и того удивило выражение, застывшее в них. Собачья тоска, да и только. Совсем как у Джеральда, когда он вспоминал о своей родине.

— Худо?— спросил Поляков.

Хамзин вздохнул. Глубоко и протяжно.

— Хоть на луну вой,— сказал он.— Где твой курносый приятель? Он обещал помочь. Только не говори, что у меня белая горячка, я все помню.

— Хорошо,— сказал Поляков серьезно.— Не буду. Хотите, я скажу вам, когда вы совершили свою самую большую ошибку?

— Откуда тебе знать, Мишка?— вяло махнул рукой Хамзин.

— Вам было семнадцать лет,— продолжал Михаил.— Вы уехали из родного села сюда, в город. Помните?

— Ну, помню. Я поступил в институт. А что?

— А то, что вы напрасно это сделали. Вы обиделись на весь свет, не сумев простить девушку, такую же зеленую, как и вы, и, плюнув на нее, женились в городе на первой попавшейся. Ведь вы никогда не любили свою жену. Вот и страдаете, и ее мучаете, и водку пьете, и детей бьете, пока жена не видит. Так ведь?

— Откуда ты знаешь об этом?— вскинулся Хамзин.

— Сами рассказывали,— улыбнулся Поляков.— А ведь могли бы не ломать свою любовь, а после института вернуться домой, жениться на любимой и спокойно работать. Ведь вы грамотный инженер, работа для вас всюду найдется. Тем более в родном селе. Хочется же босиком по траве, а?

— Хочется-перехочется,— проворчал Хамзин.— Только дома родного не осталось и эти самые стежки-дорожки позарастили. Нет мне жизни на этом свете. Пусти на тот, Мишка.

— Что я вам, господь бог?— улыбнулся Поляков.— Если вы думаете, что лучше нету того света, то вы ошибаетесь.

— Не запирайся,— упрямо проговорил Хамзин.— Мне твоя собака все рассказала о том свете.

— Тот свет — это загробный мир, которого не было, нет и не будет. Вы неправильно поняли объяснение Джеральда.

— Не один ли черт! Главное, что я могу начать сначала жизнь. Здесь уже поздно, а там еще смогу.

— Ничего вы не сможете,— покачал головой Поляков.— Другой Хамзин смог, а вы не сможете. Всю волю пропили.

— Какой еще другой? Я один у родителей.

— Другой. Не здесь, а там.— Поляков неопределенно повел рукой в воздухе.— Я узнал, где он живет. Это нетрудно. В том же селе, где родился, его жену зовут Светлана. У них двое детей, обычные хорошие дети, не хуже ваших, хоть и в деревне выросли. Тот Хамзин работает агрономом, у него тоже горе — больна жена, но он не чувствует себя таким одиноким и несчастным. Они нужны друг другу. Он не считает себя счастливым, но по сравнению с вами он счастливчик.

— Не бери души,— сказал Хамзин.— Ты придумываешь сказки. Нет другого Хамзина, мог быть, но нет. Есть я один, совсем один, и больше никого.

— Хотите, я познакомлю вас? Вы сможете побывать у него в гостях и даже выпить партвейна со своим двойником. Если, конечно, не напугаете друг друга до смерти.

— Хочу,— твердо сказал Хамзин.— Не напугаюсь. Давай веди.

— Не так сразу, Иван Николаевич. Сейчас не получится. Вы должны поехать в родное село и все хорошенько вспомнить, до деталей. Вы должны восстановить в памяти свое прошлое, отца, мать, деда. Вы должны построить заново разрушенное вами. Иначе нельзя.

— Слушай, а как это ты? Аппарат изобрел?

— Нет,— покачал головой Поляков.— Я сам и есть аппарат.

— А может, ты того, а?

— Нет,— усмехнулся Поляков.— Не того. Хотите, покажу?

— Не боишься, что проболтаюсь?

— Не боюсь. Кто вам поверит? Если вы, Иван, пой-

мете, в чем причина ваших бед, то уже сможете преодолеть хотя бы часть их, а если еще научитесь изменять свою судьбу, то... Короче, идем.

Они зашли в комнату, где даже запах был вчерашний, запах старого дерева, книг, выцветшей обивки и столетней пыли, затаившейся в щелях.

— Сядьте туда,— приказал Поляков.— И не мешайте. Вопросы не задавайте и в обморок не падайте.

Он сел на канapé, достал кисет и стал набивать трубку.

— Ага,— удовлетворенно хмыкнул Хамзин,— опиум. Теперь понятно, какие миры ты посещаешь.

— Табак,— сухо сказал Поляков.— Марка «Мичманский». Можете попробовать.

Он разжег трубку, встал, походил по комнате, затягиваясь голубым крепким дымом, снял с полки пластинку и поставил на граммофон. Хорошо смазанная пружина завелась без скрипа. Поляков снова сел на низенький диванчик, вытянул ноги, не отрывая взгляда, стал пристально смотреть на фотографию, где человек, похожий на него самого, пронизывал десятилетия светлыми глазами. Хамзин глядел на него во все глаза, стараясь не моргать, но так и не уловил момента, когда вдруг понял, что остался один.

— Принеси партвейна!— заорал он, но уже некому было его услышать.— Вот черт, забыл напомнить!

Клубы дыма растворялись в воздухе, пластинка доиграла до конца, игла бессмысленно царапала черный диск. Хамзин остановил вращение, потискал замшевый кисет, расшитый бисером, громко чихнул.

— Ерунда какая-то,— сказал он себе.— Не пьяный, а мерещится...

Это был рецепт, найденный именно для него, и я не знаю, как можно научить других людей переходу. Сам я передвигаюсь в многомерном пространстве совсем

по-иному, но причина, толчок всегда находятся внутри. Это особое чувство, заложенное природой в любом разумном существе, но лишь дремлющее, пока не пришла пора. Так и он никогда не мог объяснить толком, как это ему удастся, и все его рассказы, даже самые подробные, сводились к перечню условий, необходимых для перехода, и описанию внутренней сосредоточенности, которую, впрочем, почти невозможно описать словами. Условия были просты. Трубка, набитая табаком «Мичманский», старая пластинка, фотография на стене, расслабление, и еще то, что называется вживанием в роль. Полное и безоглядное вживание, равносильное превращению в другого человека.

Он давно научился обходиться без табачного дыма, музыки и прочей бутафории. Не это было главным, и лишь по привычке, словно исполняя ритуал, он обставлял всем этим свой переход. К тому же далеко не во всех мирах оказывались под рукой привычные вещи. Но они служили не просто фетишами: все это соединяло в нем разрозненные звенья рода, освобождало генетическую память и приближало к границе. Старая музыка и фотография соединяли его с дедом, табак и трубка — с отцом. Он описывал свое приближение к границе миров. Как и мной, она воспринималась им в виде плотной прозрачной пленки, потом следовал мгновенный разрыв, отдававший болью в висках, и он оказывался в другой Вселенной...

Я не совсем уверен в своем предчувствии, но возможно, что все изменится, и довольно скоро. Мы ощущаем приближение беды намного раньше людей. Не знаю, что принесет нам это изменение, горе или радость...

Все стало проще и сложнее одновременно. Проще в институте. Жанна и без того не слишком-то дорожила мнением своих однокурсников. Не сумевшие понять и простить ее, они навсегда стали чужими. За ее спи-

ной поговорили, посудачили, дружно сошлись на том, что она выходит замуж за старика из-за хорошей городской квартиры, и на том успокоились. Труднее было с родителями. Им нельзя было говорить правду, а лгать родным людям было тяжело. Они приехали в город, когда она сообщила им о своем решении, погостили несколько дней и уехали рассерженные. Они справедливо полагали, что их красавица дочь достойна самого лучшего, самого умного, самого красивого мужа, а не старика, ровесника ее отца. Она хотела сказать, что ее муж и так самый лучший, но выдержала роль до конца. Иного выхода не было.

Ну а что потом? Потом она родила сына, его назвали в честь деда Сашкой, старик стирал пеленки, пес пел колыбельные, Виктор-Михаил выжимал сок из морковки, мальчик рос не по дням, а по часам, короче — все как в сказке.

Пес почувствовал раньше и поделился только с Михаилом. Тот посомневался, потом поверил, не придав этому никакого значения, но Джеральд объяснил ему, чем все это может грозить, тогда забеспокоился и Поляков.

А дело было в том, что наступали тяжелые времена. По всей видимости, пришла пора разделения миров. Каждый из них созрел, накопил энергию и готовился к новому рождению. Джеральд доказывал, что возникнут неизбежные деформации, и уже нельзя будет с привычной легкостью переходить из одного мира в другой, как в соседнюю комнату. Поляков не говорил об этом ни отцу, ни Жанне и лишь в свободные часы изводил бумагу сложными расчетами, пытаясь заранее вычислить дату сдвига. Но даже с помощью Джеральда сделать это было практически невозможно.

— Где же ваша хваленая наука? — раздраженно ворчал Поляков. — Только и хвастаешься, что у вас то умеют, это знают, вы, мол, первооткрыватели, первопроходцы...

— Что ты пристал ко мне? — возмущался пес. — Что

я тебе, математик? У вас в космос летают, а ты сможешь рассчитать паршивую траекторию полета? И ведь хорошо знаешь, что я всего лишь половина разумного существа и могу ровно в два раза меньше. И еще попрекаешь моим несчастьем!

— Не сердись. Ничем я тебя не попрекаю. А ты мне ни разу не рассказывал, как это ты умудрился потеряться? За кошкой, что ли, погнался?

Джеральд, глубоко вздыхая, поджимал черные губы и раскаянно шевелил коротким хвостом.

— Собственно, тут и рассказывать не о чем,— неохотно говорил он.— Ошибся. С кем не бывает,— и переводил разговор на другую тему.

Близился час деления. Вселенная сжималась, как зверь перед прыжком. Солнце резко увеличило свою активность, в просторах космоса вспыхивали сверхновые звезды. На Земле возросла смертность, несколько войн начались одновременно на разных материках, и каждая из них могла изменить судьбу всей планеты. Случайности вырастали до ранга необходимости, Вселенная защищалась от них, выбрасывая новые побеги и, словно опасаясь возможной гибели, в арифметической прогрессии отражала себя в неисчислимых мирах...

Вернувшись с дежурства, он сидел в большой пустой квартире, расслабившись в уютном кресле. Он ждал, когда отойдет усталость, чтобы привычно пересечь границу и встретиться с близкими.

В дверь настойчиво зазвонили. Он знал, что скрываться нет смысла, и пошел открывать Хамзину.

Инженер ввалился в прихожую, таща два раздутых чемодана. Один из них для верности был перетянут ремнем, карманы полушубка оттопыривались. Поляков молча взял чемоданы и отнес их в комнату. Хамзин пыхтел сзади и готовился разразиться потоком слов.

— Все, начал новую жизнь,— сказал за него Поляков.— Больше туда ни ногой. Выручай, Мишка.

— Выручай, Мишка,— повторил Хамзин с отчаянием.— Больше ни ногой. Чтоб я сдох. Веди меня. Я готов.

Он втиснулся в кресло, поворочался с боку на бок, словно утрясая свое большое тело.

— Ездил в родное село,— вздохнул Хамзин.— Все вспомнил, ко всему готов. Только бы избавиться от этого рабства.

— А не страшно?

— Не-е,— мотнул головой Хамзин.— Здесь страшнее.

— А если не получится?

— Все равно домой не вернусь. Уеду на родину, там меня ждут. Но понимаешь, там меня жена разыщет. Бежать от нее некуда. Послушай,— вдруг испугался он,— а ты не врешь? Это не фокус. Или мне померещилось?

— Все это правда. Сейчас вы окажетесь в другом мире и сами во всем убедитесь.

— Давай поскорее, Мишка, а то жена найдет. Я хитрый, а она еще хитрее.

— Пошли,— сказал Михаил.— Сначала вы, потом я. И ведите себя там потише, не пугайте мою семью. И еще — сразу же вставайте и отходите в сторону, я пойду следом за вами. А там разберемся, что с вами делать.

Они зашли в маленькую комнату. Поляков усадил Хамзина на канapé, неторопливо завел граммофон, поставил пластинку, набил трубку и сказал:

— Закуривайте. Прижмите свои чемоданы, а то потеряете по дороге. Расслабьтесь, закройте глаза и думайте, усиленно думайте о себе, семнадцатилетнем. Вспомните все, что можете, как можно яснее: голоса, запахи, ощущения. Давайте. Я подтолкну вас.

И запела пластинка, поплыли по комнате голубые клубы табачного дыма, обмяк Хамзин, расслабил не-

померный свой живот, запрокинул голову, разгладил морщины, и улыбка высветлилась на лице.

— Пошел!— крикнул Поляков и, схватив Хамзина за плечи, сильно встряхнул его.

Тот удивленно вздрогнул и исчез.

Вместе с чемоданами, болью, горем, весь, от лысеющей головы до стоптанных ботинок. Поляков ни разу не видел со стороны, как уходят люди в сопряженное пространство и, по правде говоря, не очень-то верил, что еще кто-то, кроме него самого, сможет преодолеть барьер. Он не был до конца уверен, попадет ли Хамзин в нужный мир или его забросит на задворки бесчисленных Вселенных, и поэтому стал готовиться к броску.

Это произошло одновременно. Кто-то заколотил кулаками в дверь, настойчиво, нетерпеливо, а в ту же минуту появился Джеральд. Гладкая шерсть его стояла дыбом, длинная царапина на боку сочилась кровью, с розового языка капала пена. Он задыхался и кричал еще в воздухе, не успев приземлиться.

— Витенька! Мишенька! Начинается! Я нашел!

— Что начинается? Что нашел?

— Деление начинается, черт тебя побери! Дверь я нашел, провалиться мне на этом месте! Она самая, родимая! Перед делением повышается проницаемость, дорога к ней открыта. Ты понимаешь, чучело ты двуногое, нашел я ее! Нашел!

Не в силах остановиться, Джеральд носился по комнате, сбивая стулья. Стук в дверь становился яростным. Незнакомый женский голос на высоких нотах кричал из-за нее:

— Помогите! Убивают! Люди, откройте!

— Не открывай!— прокричал Джеральд.— Беги быстрее, не успеешь. Во время деления все двери закрываются. Бежим!

— Беги, Джеральд,— сказал Поляков, поймав собаку и прижимая к себе.— Беги, мой самый прекрасный, самый умный во всей Вселенной пес. Я найду тебя. Беги.

Джеральд на секунду прильнул к нему своим горячим телом, торопливо лизнул в щеку.

— Прощай!— сказал он, отстраняясь.— Как знать, увидимся ли? Я не мог уйти, не попрощавшись. Обними отца, лизни, фу ты, поцелуй Жанну, не обижай Сашеньку. Помните, я люблю вас!

Он высоко подпрыгнул в воздухе и, уже растворяясь, крикнул:

— Беги!

— Спасите!— истошно кричала женщина.— Умоляю, откройте!

Колебаться было некогда. Поляков подошел к двери, сдвинул рычажок замка. В прихожую ворвалась женщина в расстегнутой шубе, с растрепанными волосами и, гневно поблескивая очками, закричала с порога:

— Куда ты его дел, негодяй? Я не допущу! Не позволю! Как ты смеешь!

Поляков выглянул в подъезд, но там никого не было.

— Так вы обманули меня?— холодно спросил он.

— Это ты обманщик!— ядовито выкрикнула она.— Ты заманиваешь к себе людей и уничтожаешь их с корыстной целью. Ты ворует чужих мужей!

— Так вы жена Хамзина?— догадался Поляков.

— Ага! Вот ты и признался!— теснила его женщина.— Говори сейчас же, где он?

— Его здесь нет,— спокойно сказал Поляков.— Можете поискать.

— И поищу, еще как поищу,— с угрозой в голосе сказала она и ринулась в комнату.

Поляков уселся в кресло и с усмешкой смотрел, как женщина, суется и подбадривая себя криками, бежит из комнаты в комнату, двигает стульями, открывает шкафы и ползает на коленях под кроватью.

— Так и есть!— торжествующе выкрикнула она, встав перед Поляковым и тыча пальцем ему в лицо.— Никаких следов! Успел замести, преступник! Чем ты

его заманил, негодяй!— кричала она, подступая.— Верни мне мужа!

— Ну и семейка,— вздохнул Поляков.— Вы что, детективов начитались? Нет здесь вашего мужа. Можете вызвать милицию, если не боитесь позора.

— Это ты должен бояться!— Хамзина словно обрадовалась сопротивлению и уверенно рванулась в бой.— Я за тобой давно слежу. Пятнадцать человек сгубил, а теперь и до моего Ванечки добрался? Не на такую напал!

— Да, не на такую,— согласился Поляков и искренне пожалел бедного инженера.— Делайте что хотите, только за пределами моей квартиры. Вы поняли меня?

Наверное, его взгляд не понравился Хамзиной. Она отскочила на шаг и взвизгнула:

— Убийца! Я так просто не дамся! Я буду кричать!

— Вы и так кричите,— сказал Поляков, медленно поднимаясь.— Ничего, здесь никто не услышит.

— Милиция!— заголосила Хамзина, заметаившись по комнате.— Убивают!

— Ничего, голубушка, это не страшно,— сказал Поляков.— Дело одной минуты...

Она выскочила из квартиры так быстро, что зайчик от ее очков не поспел за ней и растерянно замер на потолке.

Поляков покачал головой и невесело рассмеялся.

— Бедный, бедный Иван,— сказал он.— От такой жены и в космосе не скроешься...

Он тщательно закрыл входную дверь и... Что-то сильно содрогнулось внутри, он ощутил, как воздух сжимается и тугими толчками протискивается при каждом вдохе в отяжелевшие легкие. Закружилась голова, он оперся о стену.

— Опоздал,— зло шепнул он,— опоздал, болван.

Он физически остро ощутил, как захлопнулись двери,

с испариной на лице вбежал в маленькую комнату и, усилием воли стараясь подчинить себе взбунтовавшийся мир, раз за разом пытался прорваться через закрывшийся барьер. Он напрягал все силы, комбинировал элементы ритуала, менял пластинки, торопливо листал старые альбомы, но прозрачная преграда не подходила вплотную, словно что-то сломалось в непонятном механизме перехода.

Тогда он прекратил поиски и стал ждать, чем все это кончится. Запасаясь большой кружкой чая, сидел в кресле и читал толстую книгу, которой должно было хватить надолго. Он рассеянно думал о том, что, быть может, еще не все потеряно, закончится разделение, и граница снова станет достижимой и податливой. Он не знал, сколько будет длиться это никому не известное действие, но рано или поздно оно совершится, и тогда можно будет сказать наверняка: пан или пропал.

Вселенная продолжала сжиматься. Мягкая неодолимая волна накатывала на Полякова со всех сторон, захлестывала, давила, грозила утопить или выбросить на сушу. Сдавливало виски, перед глазами проплывали далекие звезды. Ему казалось, что тело его уменьшилось и уплотнилось. Уже не волна, а сплошная океанская толща вдавливала его в кресло, и лишь короткие пульсирующие вспышки всплескивались в глубине тела.

И Вселенная распалась.

Он ощутил резкий толчок в грудь, и тут же воздух стал разреженным и прохладным. Он невольно зажмурил глаза, а когда открыл, то увидел, что ничего не изменилось.

Поляков вздохнул и привычно приблизился к барьеру. Осторожно нащупал тугую оболочку мира. Она не поддавалась. Пружинистая и полупрозрачная, она не выпускала его.

— Черт! — не выдержал Поляков. — Вот ведь влип..

Ему отвели раскладушку в комнате старика, а в комнате с бронзовой ручкой на двери старались не заходить, напряженно ожидая прихода Михаила. Всех беспокоило его долгое отсутствие. Джеральд успел распрощаться с ними, мелькнув на минуту в пыльном луче света, пересекающем комнату, а от Миши не было никаких вестей. Сам Хамзин мог рассказать очень мало. Появление инженера не было неожиданностью, старик сразу же увел его в другую комнату, чтобы он не помешал приходу сына, но Михаила все не было и не было.

Первые дни он не выходил из дома, с трудом привыкая к этому миру, словно не доверяя новому для себя чувству внутреннего освобождения. Но постепенно осмелев, Хамзин начал выходить на улицу, с любопытством выискивая различия между мирами. Их было не так уж и много, скоро он привык к чужой орфографии и его перестали удивлять «ошибки» на вывесках и рекламах. Он даже привык читать книги, раздражавшие поначалу своим «исковерканным» языком. Положение гостя тяготило его. Он долго искал свой родной НИИ, но на этом месте высились жилые дома, и вообще город отличался от его родного. Только здания, построенные в прошлом веке, вызвали чувство причастности к их общему прошлому. Он порывался уехать в родное село, но побаивался встречи со своим двойником, к тому же документы его не годились для этого мира. Он все больше и больше думал о том, что его бегство в конечном счете оказалось бессмысленным. Гуляя по улицам, он насмешливо размышлял, что этот способ хорош для алиментщиков и преступников. Здесь не было ни жены, ни тещи, и он не стремился к встрече с их двойниками, суеверно полагая, что женская проницательность сильнее границ и расстояний.

Но главное было в том, что он постепенно пришел к пониманию причин своей боли. Чувство обреченности. Вот что мучило его долгие годы. Словно он был раковым больным и знал, что скоро умрет и некуда деться

от смерти. Так и Хамзин был обречен на ежедневные мучения, и, слабовольно махнув на все рукой, знал, что до конца жизни ничего не изменится, и это знание губило его, сковывало волю, заставляло пить, дурить и лезть в раскаленную топку. Ошибка, совершенная однажды, порождала плотную цепь других ошибок, и не было сил разорвать ее, как веревку с красными флажками, и освободиться, и начать новую жизнь.

Побег не принес ему желанного освобождения. Он остро ощущал чуждость другого мира, и новое чувство обреченности уже начинало захлестывать его. Обреченность на чужбину. Уходить назад было жутко, но и оставаться здесь навсегда казалось немыслимым.

Старик нервничал. Его мучила бессонница. Шаркающими шагами он расхаживал по ночному дому, кашлял и разговаривал сам с собой, доказывая что-то себе яростным шепотом. Жанне тоже было нелегко. Институт, ребенок, тревога за старика и за Мишу. Не хватало Джеральда, к которому успели привыкнуть, хотя все прекрасно понимали, что он нашел свою родину, и радовались за него.

Однажды старика прорвало.

— Напридумывали!— воскликнул он.— Напридумывали параллельные миры на свою голову! Деление! Разобщение! Черт бы побрал все границы! Между странами, между людьми! Сидят в своих параллельных мирах и в ус не дуют. Конформисты, трусы! Черта с два пришел мой сын из своего дурацкого мира, если бы я не любил и не ждал его. Только любовь, только отречение от себя, от своей шкуры рушат границы.

— А как же я?— робко вставил Хамзин.

— А вы, любезнейший,— ядовито сказал старик,— трус номер один. Вы перескочили сюда от страха, а страх, к великому сожалению, бывает сильнее любви. Я не склонен корить вас, но скажите правду: почему вы сбежали?

— Я не мог там жить,— виновато сказал Хамзин.— У меня жена злая.

— А кто вас привязал к ней? Если нельзя исправить, то разводитесь. Вы мужчина или не мужчина? От злой бабы на тот свет бежать! Слыханное ли дело. Родину променять!

— Не судите его строго,— вмешалась Жанна.— Он имел право на убежище. И если Миша решил спасти его, то, значит, это было необходимо.

— Я о многом передумал, живя здесь,— пробормотал Хамзин.

— Вот и думайте лучше,— сказал старик.— Не знаю, почему Виктору-Михайлу взбрело в голову посылать вас сюда, но вы должны выбрать свой путь. Никто, кроме вас, не вправе решать...

— Я знаю,— упрямо перебил Хамзин.— Теперь я знаю, как жить. Наверное, Миша и запустил меня сюда, чтобы я сам понял, что к чему. Словами все равно не прошибешь, а вот когда на своей шкуре испытаешь... Назад мне надо, домой. Разведусь, уеду в родное село.

— Назад,— пробурчал старик.— Ни вперед, ни назад. Я сам попробую!

— Как же вы, Александр Владимирович, если даже у Миши не получается?— спросила Жанна.

— Вы заблудитесь,— буркнул Хамзин.

— Найду,— твердо сказал старик и закрыл за собой дверь с бронзовой ручкой.

Михаил объяснял ему, как это делается, да и сам он много раз видел уход и приход сына, вот и сейчас, стараясь ничего не упустить, он тщательно восстановил ритуал перехода и, кашляя от дыма, упрямо ждал. Ничего не получалось...

Он ходил на работу, лежал на топчане, прислушиваясь к гудению пламени в топках, к бегу воды по трубам, к ровному шуму мотора, и терпеливо ждал. Об

исчезновении Хамзина ходили немыслимые слухи: то говорили, что он убежал с любовницей, то клялись, что его труп нашли в пригородном лесу, то утверждали, что он напился до бесчувствия и замерз на улице.

Жена Хамзина не оставляла в покое Полякова. Однажды она пришла с молоденьким участковым милиционером и, тыча в Полякова узловатым пальцем, кричала, что этот усатый рецидивист растворил ее мужа в серной кислоте и вылил в канализацию и что этот же негодяй чуть не убил ее саму зверским способом. Сама абсурдность обвинений уже служила доказательством невинности Полякова, но милиционер, скучая, все же тщательно допросил их обоих, проверил документы и со словами: «Смотрите у меня» — ушел. Хамзина выскочила вслед за ним, опасаясь остаться в этой квартире.

Михаил не прекращал попыток. Мир был замкнут, и граница не пропускала. Он не отчаивался, полагая, что после разделения межклеточная мембрана непроницаема лишь на время, и упорно исследовал ее, раз за разом приближаясь к полупрозрачной преграде. Его забавляла мысль, что теперь стало два Михаила, две Жанны, два отца, два сына и два Хамзина. Не говоря уже о прочих. И как знать, быть может, в одном из четырех миров найдется лазейка для соединения, и тогда все решится.

И вдруг появился Джеральд.

В искрах электрических разрядов, проломив оболочку, он завис в воздухе посередине комнаты и, спружинив на все четыре лапы, бросился к Полякову, яростно вертя обрубок хвоста.

— Наконец-то! — закричал он еще в воздухе. — Наконец-то я нашел тебя, пес ты двуногий, кочегаришка зачуханный!

— Грубиян! — воскликнул Поляков, обнимая собаку. — Откуда ты взялся?

— С того света, естественно. Я не один. Познакомь-

ся, это мой симбионт.— И Джеральд показал лапой на появившегося человека в синем костюме.— Он не знает вашего языка, его зовут Джеральд-один.

— А ты сам, выходит, Джеральд-два?— догадался Поляков и протянул руку человеку.— Искренне рад, ваш пес много рассказывал о вас.

Человек улыбнулся и произнес несколько слов на незнакомом языке.

— Ну, потеха!— рассмеялся пес.— Он сказал те же самые слова, что и ты. Вот вам и языковой барьер! Ну ладно, ближе к делу, у нас мало времени. Дела плохи, парень. Мы к тебе добирались обходным путем и то смогли пройти только вдвоем, по одному невозможно. Ты же знаешь, мы сильны только в симбиозе. Так вот, ты сможешь попасть в тот мир при одном условии: если тебе навстречу пойдет человек. А мы поможем.

— И кто же этот другой?

— Не знаю, но, кроме твоего начальника, больше никому. К сожалению, дорога назад так и останется закрытой.

— Навсегда?

— Мы не знаем,— замялся Джеральд-два.— Расчеты еще не закончены.

— Тогда я не смогу пойти на это.

— Ты хочешь оставить жену, отца, сына?

— Я не могу без них, но и оставить родину навсегда тоже невозможно. И по отношению к Хамзину это будет жестоко. Да и не согласится он.

— Еще как согласится!

Джеральд-один произнес короткую фразу. Поляков вопросительно посмотрел на пса.

— Он сказал, что ты идиот,— перевела собака.

— Не придумывай,— сказал Поляков.— Не пользуйся моим незнанием языка.

— Ну хорошо, тогда он сказал, что еще не все потеряно. Мы закончим расчеты и тогда скажем наверняка. А сейчас нам пора. Ваше разделение с ума сведет. Теперь

надо бежать к Полякову-второму и выслушивать те же самые глупости, что и от тебя, а потом уговаривать обоих Хамзиных, двух стариков, двух девчонок и двух щенят. Пардон, я хотел сказать — пацанов.

— Этих не придется. Они еще ничего не понимают.

— Эге! Твой сын весь в тебя — упрямый и настырный. Ну, пока! И не забудь — завтра ровно в семь утра. Пыхти, сопи, пыжься, но пролезь в дыру!

— Удачи вам! — махнул Поляков вслед уходящим...

Я так и не нашел истину, движущую мирами. Лишь приближение к ней, вечный поиск, взгляд издали, радость узнавания и разочарование неудач. Она — как отражение запредельности, как мираж, дразнящий кажущейся близостью. Как сама Вселенная, единая и противоречивая, огромная и бесконечно малая, вечная и мгновенная, нетленная и хрупкая. Мы называем ее разными именами, но каждое из них — лишь отблеск настоящего, неизвестного нам.

И да будет мне позволено сравнение, близкое моему сердцу и понятное вашему миру: истина — это собака, многообразная в своих формах, но единая как вид.

Вот идет рядом с вами пес, упруго переступая лапами, и втягивает ноздрями вечерний воздух, насыщенный влагой и запахами, и расщепляет их на тысячи оттенков, и знает о них все и ничего одновременно.

Идет пес, невенчанный король, неклеяменный раб человека, изогнув серповидно хвост, морща лоб и приподняв настороженные уши. Поступь его протяжна, шаг невесом, тугие мышцы перекатываются под шерстью, капелька слюны повисла на черной фестончатой губе. Идет пес, слуга и повелитель, владетель всего, что обоняет его нос, пожиратель сырого мяса, дробитель костей, нарушитель ночной тишины, поклонник Луны.

Идет пес, хранящий в своих жилах кровь ассирийских волков, кровь холеных собак, лежавших у ног

владык, дикую кровь зверя, выходящего на поединок с сильнейшим. Идет пёс, холуй, ласкающий языком намордник, князь ошейника, холоп поводка, кавалер медалей, дарованных за послушание, подкидыш леса, выкормыш человека, двойник его и собеседник, аристократ поневоле, вечный смерд.

Полюби его, человек, ибо в нем, как и в тебе, хранится истина, движущая мирами. Плоть от плоти Вселенной, ты и он, нашедшие друг друга в тысячелетиях, не расставайтесь, не предавайте...

Вы и есть два параллельных мира, две ипостаси его — хранитель и спаситель.

Человек, брат мой, оглянись вокруг. Разделенный границами и языком, распрями и войнами, враждой и ненавистью, ты, дитя Вселенной, честь и разум ее, распахни свои двери...

— Я не думала, что вы согласитесь,— сказала Жанна, виновато склоняя голову перед Хамзиным.— Спасибо вам. Я эгоистка. Я радуюсь, что муж вернется ко мне, и боюсь думать, что для вас это большая жертва.

— Нет,— сказал Хамзин.— Для меня тоже радость. Завидую я Мишке. У меня тоже могла быть такая жена.

— У вас это впереди. Вы сильный, вы сможете.

— Да,— сказал Хамзин.— Смогу. Ну что, пора?

— Пять минут,— сказала Жанна.— Пора. Не забыли?

— Этого не забудешь,— усмехнулся Хамзин.— Хорошо, хоть пограничников нет на этих границах, а то чувствуешь себя шпионом.

— Зато есть пограничные собаки,— вставил старик.

На нем был тщательно выглаженный костюм, он держал на руках внука, и лицо его было торжественным и скорбным.

— Ну, посидели на дорожку, и хватит,— сказал Хамзин.— Спасибо вам за все.

Он пожал руку старику, осторожно, боясь причинить боль своими большими руками, обнял Жанну, потрепал малыша за щеку и скрылся за дверью.

Никто не садился. Напряженно ждал старик, задержала дыхание Жанна, и даже ребенок притих, обняв деда за шею.

Из-за двери поплыла музыка. Это Хамзин завел граммофон. Прошло еще несколько минут.

И они услышали громкий треск, а потом запахло озоном, а потом послышался крик.

Сталкиваясь в дверях, они вбежали в комнату и увидели Михаила. Он сидел на полу и зажимал ладонями лоб.

— Что с тобой?— бросилась к нему Жанна.

— Да ничего,— сказал Поляков, морщась.— Хамзин чемоданом стукнул. Нечаянно. Столкнулись. Здоровый чемоданище...

А потом пришли они, Джеральды. Пес с важным видом сообщил, что все переходы закончились удачно. Его бросились обнимать, и он не уклонялся от объятий. Быть спасателем ему чертовски нравилось. Джеральд-один стоял в стороне и молча улыбался. Когда улеглась радость, пес отвел Полякова в сторону и сказал, потупясь:

— Помнишь, ты меня спрашивал, почему я заблудился? Так вот, ты почти угадал. Только это была не кошка, а...

— Собака,— закончил Михаил.— Я понимаю. Красивая?

— Ого!— только и сказал Джеральд.

ПРИКОСНОВЕНИЕ КРЫЛЬЕВ

Фантастический рассказ

Утром выпал третий за эту осень снег. А ночью он долго падал в темноте, и из окна были видны только серые пятна, плывущие сверху вниз. Если бы Глеб не знал, что снег приносят тучи, то можно было бы подумать, что это воздух сгустился и клочки замерзшего газа разрастутся, займут все свободное пространство и станет нечем дышать.

В эту ночь к нему снова пришла бессонница. Как назло, дома не оказалось снотворного, и он был вынужден пролежать на диване в темноте, долгие часы следя за сгущением воздуха и воображая себе, что снег стоит на месте, а дом вместе с ним, с Глебом, летит вверх и конца полету не предвидится.

Думать ни о чем не хотелось, но все равно думалось, произвольно, по инерции, вяло и неторопливо мысли связывались в ассоциации, и конец мысли совсем не вытекал из ее начала. Он смотрел на гравюру на стене, где веселый Мюнхгаузен летел на ядре навстречу туркам, и по созвучию к нему пришло слово «Мюнхен», а потом женское имя Гретхен и Грета Гарбо — заграничная дива, и город Дивногорск, и все, что связано с ним... На кухне капала вода, и со следующим словом «горы» он вспомнил пещеру, в которой заблудился в детстве, сталактит, освещенный предпоследней спичкой, и прозрачную каплю воды на его острие. На вкус она

была горьковатой, и сейчас, через много лет, он снова ощутил на языке едкий вкус известковой воды. И сразу же пришло ощущение потерянности и страха, и комната превратилась в сырую, душную пещеру.

Тогда Глеб встал, включил свет и по голосам, доносившимся из соседней квартиры, понял, что наступило утро.

Как всегда по утрам, соседка ругала своего сына, а он отвечал тонким голосом, невнятным, монотонным, иногда плакал, соседка распалялась еще больше и, наконец, била мальчишку.

Глеб прошел на кухню, засыпал кофе в кофеварку и, пока она булькала на газе, сидел, думал о разном и слушал голоса за стеной. Похоже было, что мальчик заперся в ванной и плачет там один, а мать кричит на него из-за двери, и уже отец вклинил свой бас, и только неясно, кого он ругает — жену или сына, или, быть может, обоих.

Пришла Лида.

— Так и не спал? — спросила она, шурясь от света.

— Да, — сказал он, — думается о разном. Не спится.

— Как же ты будешь работать сегодня?

— Я привык. Я могу не спать по три дня.

— И не есть целый день, — добавила Лида. — И не видеть жену по году. Ты выносливый.

— Да, — согласился он, — слышишь, соседи опять ругаются.

— Слышу, конечно. Только не ругаются, а лаются. Каждое утро одно и то же.

— И каждый вечер.

— Да, и каждый вечер. Нам не повезло с соседями. Наверху заводят музыку и танцуют, да так, что пляшут наши люстры, внизу пьют и играют на баяне, а эти ругаются и бьют своего сына. Давай сменим квартиру.

— Ты думаешь, в другом месте будет лучше? У людей всегда найдутся причины, чтобы танцевать и пить, драться и плакать.

— Нам не повезло с соседями,— повторила она.

— А быть может, им не повезло с нами? Какие-то мы ненормальные. Гостей не зовем, водку не пьем, магнитофон не держим. Тихие, как мышки.

— Можно жить так же, как они,— пожалала плечами Лида.— Что может быть проще.

— Да нет, пожалуй, не сумеем. Темперамента не хватит.

Странный шум в комнате сына заставил Глеба прислушаться. Ему показалось, что там летает птица и шелестит крыльями, и налетает на стекло, отчего оно позванивает, как приглушенный голос сверчка.

Игорь не спал. Он ползал по полу, сопел, вскакивал, размахивал руками, ойкал и явно пытался поймать кого-то, ускользающего из его рук. Глеб включил свет. Тотчас же что-то коснулось его щеки, мягкое, сухое, и легкий шуршащий звук пролетел мимо.

— Кто это у тебя летает?— спросил Глеб растерянно. Он смотрел во все стороны, но только слышал, как кто-то бьется о стекло, да видел, как качнулась люстра, опрокинулся стакан, и струйка воды полилась на пол. И казалось, что это просто ветер залетел в комнату и не находит выхода.

— Что здесь происходит?— строго спросила Лида, появляясь на пороге, но тут, наверное, и ее лица коснулись невидимые крылья, и она вскрикнула и поблела.

— Летучая мышь!— закричала она.— Откуда ты принес эту гадость?!

— Это не мышь,— тихо сказал Игорь.

Он стоял посередине комнаты и не смотрел на родителей, а вертел головой, пытаясь проследить полет невидимого существа. Несмотря ни на что, он не был растерян, словно бы ожидал этого, и теперь ничему не удивлялся.

— Это птица,— сказал он, высматривая что-то на шкафу.

— Какая же это птица?— спросила Лида испуганно.— Откуда она взялась и где она?

— Вылупилась из яйца.

— Ну и когда?— спросил Глеб.— Сегодня? И уже летает? Ты что-то путаешь.

— Ничего я не путаю, папа. Я нашел яйцо на улице, белое такое, с красными пятнышками, и положил его под батарею. Это было две недели назад.

— Не придумывай,— оборвала его Лида,— я мыла пол, и не раз, под батареей ничего не было. Почему ты лжешь, Игорь?

— Я не вру, мама,— обиделся Игорь.— Яйцо лежало там.

Выражение упрямства появилось на его лице, и Глеб понял, что так от него ничего не добьешься.

— Ну ладно,— сказал он,— значит, сегодня из яйца вылупилась птица и сразу же полетела. Так, выходит?

— Ну да.

— И что же ты будешь делать со своей птицей?

— Я еще не знаю. Я хочу ее поймать и разглядеть получше.

— А ты хоть знаешь, как она называется?

— Не-а.

— Ну а какая она из себя?

— Красивая. Да ты сам посмотри. Вот она, на шкафу.

Глеб взглянул на шкаф, но ничего, кроме пыльных журналов, там не увидел. В то же время шум стих, и вполне можно было подумать, что птица устала и отсиживается где-нибудь.

— Глеб, я прошу тебя, выйдем отсюда на минутку.

Взяв Глеба за руку, Лида сжала ее и потянула к двери. Молча они дошли до кухни. За стеной не утихал шум перебранки, привычный и монотонный, как гудение воды в трубах. Лида опустилась на табуретку, и по лицу ее было видно, что она напугана, растерянна и ждет помощи.

— Ну что ты? Мальчишка нашел яйцо, из него вы-

лупилась птица, теперь она летает. Что же тебя удивляет? Он ее поймает, позабавится немного и выпустит.

— Ну что ты говоришь. Глеб? Откуда взялось яйцо осенью, почему вылупилась птица, не птенец, а птица? И она невидима. А он, он ее видит и ничему не удивляется. Это же страшно.

— Да успокойся ты, все нормально. Ты совсем забыла школьные азы. Есть такие птицы, что откладывают яйца поздней осенью, даже зимой, есть и такие, что, вылупившись, сразу же умеют летать. И откуда ты взяла, что она невидимая? Это совершенно нормальная птица, маленькая, красивая, она сидела на шкафу, и я ее хорошо разглядел. Что тебя пугает?

— Ты что; ее видишь, да? Значит, я одна слепая? Вы нормальные, а я сумасшедшая? Да?

— Ну, без фантазий, Лидок, без фантазий... Вспомни, когда ты в последний раз надевала очки. Все кокетничаешь...

Он погладил ее по голове, успокаиваясь сам придуманной ложью.

— Займись лучше завтраком, а я схожу к Игорю, мы поймаем птицу, устроим ее где-нибудь до вечера, а потом уж решим, что с ней делать.

Глеб и сам не знал, что скажет, зайдя в комнату сына, не знал, что увидит там, но хотел одного — увидеть птицу. Игорь сидел на кровати, поджав ноги, умиротворенный, счастливый и смотрел на свои руки. Они были сложены так, что казалось, в них что-то зажато. Но там ничего не было.

— Ну как? — спросил Глеб, присаживаясь рядом. — Поймал свою птицу? Да, красивая. Можно потрогать?

Игорь улыбнулся и благосклонно разрешил.

— Только не помни ей крылья. Ты купишь клетку, да? А чем ее кормить?

Глеб, чувствуя себя и дураком и лжецом временно, осторожно протянул руку к тому месту в про-

странстве, где должна находиться птица. Пальцы его ощутили мягкие перья, и воздух шевельнулся под его рукой, теплый, тугой, живой. Он провел пальцем по этому сгустку воздуха и определил для себя, где крыло, короткий хвост, голова с маленьким твердым клювом. Птица клюнула его в ладонь, и он рассмеялся.

— Сердитая! Гляди, какой красивый хвост, будто в малине вымазан.

— Совсем и не малиновый!— возмутился Игорь.— Он желтый, с голубыми перышками. А горлышко у нее белое, а вот крылья красные, с черными крапинками. Ну посмотри сам.

— Конечно же, это я хвост с крыльями спутал. Смешно. Знаешь что, посади ее пока в ящик, а вечером я куплю клетку и посоветуюсь со знающими людьми, чем ее кормить и как ухаживать. И собирайся в школу, нам пора.

Проводив Игоря до угла, они молча пошли к остановке, сели в троллейбус и только перед тем, как выйти, Лида махнула рукой, слабо улынувшись.

— Не задерживайся, пожалуйста.

Он проехал еще одну остановку, перешел на другую сторону, сел в автобус. Добираясь домой, он передумал о многом и, зайдя в квартиру, не раздеваясь, сразу же прошел в комнату сына. Посидел в тишине, в полутьме зашторенной комнаты, прислушиваясь к шорохам, попискиванию, постукиванию, доносившимся из угла, нашел ящик, отодвинул немного крышку, просунул руку в пустоту. Что-то шевельнулось, затрепетало, легко ударило по кисти; он ощутил перья, мягкий пух и горячее тело птицы, бьющейся в руке. Не вынимая руки, он гладил свободными пальцами ее спину, чтобы она привыкла к нему, словно хотел подкупить эту птицу, обмануть самого себя. Он пытался представить себе, как она выглядит, он был в положении слепого, убеждая себя, что

вот сейчас включит свет и его представление совпадет с увиденным.

Задержав дыхание, он встал, щелкнул выключателем и увидел, что руки сжимают пустоту. Понимая абсурдность своих действий, он поднес руки к лампе. Свет свободно проходил меж пальцев, кончики их отливали розовым, тогда как осязание не обманывало — в руках была живая птица. Он бережно посадил ее в ящик, задвинул крышку, постоял, растерянный. Нужно было ехать на работу, на утро намечалась сложная операция, но он понял, что все равно не сможет сейчас работать, позвонил в больницу, сказал, что болен сын и сегодня операция отменяется.

В зоомагазине он долго выбирал клетку, чтобы и красивая была, и просторная. «Для какой птицы?» — спросил его продавец. А он даже не знал, для какой, и наврал, что для канарейки, потом вспомнил, что канарейка маленькая и поправился: «Простите, для попугая, да, для какаду». Продавец удивленно посмотрел на него, вручил клетку, пояснил, как ее надо чистить.

Так же на ощупь он перенес птицу в клетку, закрыл дверку, по звукам догадавшись, что она села на жердочку. Налил в баночку воды, крошил хлеба и по тому, как убывает вода, понял, что птица пьет. Это обрадовало его, но лишь немного. Это лишний раз доказывало, что птица существует независимо от него и она — не галлюцинация, не обман зрения, а живое существо, со всей присущей ему анатомией и физиологией. Белая капелька помета брызнула на пол...

Разыскав фотоаппарат, он зарядил новую пленку, раздвинул шторы, включил все лампы и, придвинув клетку ближе к свету, заснял всю кассету.

Просматривая мокрую пленку, он увидел белые прутья клетки и среди них, как сердце среди ребер на рентгене — светлое пятно. Это была птица.

Запершись в ванной, при красном свете, он печатал

снимки, и на каждом из них медленно, из небытия белой бумаги проступала маленькая птица, ее крылья, хвост, глаза. Он глядел на нее, пытаясь понять, почему же не видит ее живую, а здесь, плененную светом и черными крупинками серебра, может разглядывать ее, прикасаться к ней, холодной, плоской, глянцевой.

Набрал номер и, когда услышал знакомый голос, сказал:

— Женька, старик, приезжай ко мне. Ты мне позарез нужен.

— Ну если позарез... Хорошо, я забегу на полчасика. Готовь кофе.

Приехал Женья, шумный, бородатый; скинув пальто, сразу же протопал в кухню, повел носом:

— Где обещанный кофе? Ты меня разочаровываешь.

Макая бороду в чашку, он, не переставая, рассказывал анекдоты вперемежку с историями из жизни своих больных. Слушая его, Глеб почти позабыл о птице, пока писк не напомнил, для чего он звал друга.

— У тебя мыши завелись?— спросил Женья.

— Там, у Игоря в клетке, кое-кто сидит. Иди, взгляни.

Сам остался на кухне, сидел, ждал.

— Ну, старик, отличная у тебя птичка! Как она называется?

Женья сидел на корточках и, по-детски открыв рот, не отрываясь, глядел в клетку. Глеб сел на пол, прислонился к стене. Сегодняшняя бессонница все же давала о себе знать: болела голова, тело казалось легким и чужим.

— Игорь нашел,— сказал он.— Но ты понимаешь, Женька, я ее не вижу. И Лида тоже. А ты с Игорем видишь. Вот такие дела.

Женья удивленно взглянул на него, хотел что-то сказать, но промолчал. Глеб принес фотографии.

— Вот здесь я вижу. А живую — нет. Думай, что хочешь, а у меня уж голова кругом идет.

— Совсем не видишь? Дела... А что же взамен?

— Ничего. Пустоту. Могу потрогать ее, слышу ее, а глазами — нет.

— Значит, что-то вроде избирательной слепоты. Забавно.

— Да уж кому как, знаешь.

— А что ты сам думаешь?

— Экспериментирую, что еще мне остается?

— Насколько я понял, об этой птице знают пока четверо: ты с Лидой и я с Игорем. Маловато для выводов.

— Что же теперь, ее по улицам носить и всем показывать? Как слона из басни?

— А что? Может, и придется. Но давай сначала поразмышляем о видимом и невидимом. Вот, скажем, электроток. Бежит он по оголенному проводу, а кто его видит? Никто. Как обнаружить его?

— Рукой схватить. Так обнаружишь...

— А что надо сделать, чтобы его увидеть?

— Подсоединить что-нибудь. На приборе стрелка отклонится, мотор заработает, лампочка загорится.

— Вот-вот, именно лампочка. То есть мы увидим не сам электрический ток, а свет от накаленной им спирали, но это уже ближе. Ты понимаешь, к чему я клоню? Для того чтобы увидеть птицу, тоже нужна лампочка. У кого-то она есть, а у кого-то нет. А что она собой представляет, я не знаю.

— Ясно. У тебя с Игорем лампочки в мозгах вкручены, а у меня с Лидой — перегорели или вовсе не было. Дай взаймы, что ли...

— А может, у тебя врожденный дефект, вроде дальтонизма? И знаешь что?..

Зазвонил телефон. Вызывали Женю.

— Ты прости, Глеб, я твой телефон на работе оставил. У меня больной тяжелый, надо ехать. Ну давай, думай. И не изводись так. Я к тебе вечером заеду.

Внимательно перелистывая толстые тома «Жизни животных», приглядываясь к иллюстрациям, Глеб сравнивал их с фотографиями птицы, но ни одна из них не походила на ту, что сидела в клетке. Тогда в голову ему стали приходить мысли невероятные и слова несерьезные. Он подумал, что это и не птица вовсе, а пришелец или робот, посланный на землю с неведомой целью, а ее невидимость — это защитный экран, только почему-то избирательный. Он дошел до того, что пришельцы защищаются именно от него, Глеба, и, рассмеявшись, скорчил устрашающую гримасу. Пусть боятся.

Как обычно, смех превратил проблему в шутку, и он, уйдя в другую комнату, лег на диван и, закрыв глаза, привычно скользя по запутанным ассоциациям, дошел до слова «сон» и заснул с этим словом.

Его разбудил шум. Из комнаты Игоря слышались возня, шорох, писк. Стараясь ступать неслышно, он приблизился к открытой двери и удивился тому, что увидел. В комнате была Лида. Растрепанная, раскрасневшаяся, она стояла на коленях возле клетки и шарила в ней руками.

— Ты что?— спросил Глеб, хотя и так ясно было, что.

Лида вздрогнула, смутилась.

— Да вот, пораньшепустили,— сказала она, поднимаясь,— а тебя будить не хотелось.

Глеб захлопнул открытую дверку клетки, прислушался. Птица была там, успокаивалась, наверное, оправляла перышки.

— А я уж думал, ты ее на ужин решила приготовить.

— И ты еще шутишь? Мне вот не до шуток. Все вы нормальные, а я уродка. Думаешь, мне легко?

— Видишь ли, Лида, если говорить честно, я ведь тоже... Мы с тобой оба уроды.

— Врешь,— сказала она почему-то шепотом,— ты врешь. Ты нарочно меня успокаиваешь.

— Нет, не вру. Это утром мне показалось, что так будет лучше. А ты весь день об этом думала и прибежала пораньше, решила, что дома никого не будет. Ты хотела ее убить?

— Нет, просто выпустить.

— Зачем?

Лида молчала.

— Ну что же,— сказал Глеб.— Это тоже выход. Что непонятно, то подлежит уничтожению. Так спокойнее. Птицы не станут, ты снова будешь чувствовать себя нормальной. А так она словно заноза.

— Я все равно убью ее,— твердо сказала Лида.— Все равно. Что бы ты ни говорил обо мне и что бы ни думал. Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?

— А об Игоре ты подумала?

— Для него это очередная игрушка. Поплачет и забудет.

— А если не забудет и не простит? Что тогда?

— Да как ты не понимаешь? Мы с тобой ненормальные, мы не видим ее.

— Мало ли каких дефектов не бывает на свете? Женья был здесь, назвал это избирательной слепотой. Он, кстати, птицу видит. И, я думаю, многие ее тоже увидят. А многие — нет. Пока нас поровну. Ну скажи, тебе будет легче, если, например, половина города птицу тоже не увидит? Мы ведь будем не одни?

— Возможно, и так. Но я не верю в это. И ты мне лжешь. Ты ее видишь.

— Ну вот, договорились. Только сегодня утром жаловалась, что никогда не скандалили. Давай подеремся, что ли?

Лида отошла к окну, отвернулась, и в наступившей тишине стали слышны привычные вечерние звуки: внизу играли на баяне, громко пели, то и дело выскакивали в коридор, шумели там и дрались. А наверху завели магнитофон, он орал на полную мощь своих мегаватт, и кто-то плясал, да так, что дрожал потолок и качалась

люстра. За этим шумом Глеб не сразу расслышал знакомое трио за стеной: высокий женский, басовитый мужской и тонкий детский. Глеб попытался вспомнить, какие же лица у соседей, но так и не вспомнил, покачал головой и прикрыл плотнее дверь в комнату.

Сел рядом с клеткой и долго слушал, как шуршит птица, стучит клювом о прутья, попискивает, а потом открыл дверку и просунул туда руку. Птица забилась под его пальцами. Он неловко схватил ее поперек туловища, она пискнула, ударила крылом, и он ощутил прикосновение его на коже, сухое, мягкое, теплое. Он вытащил птицу из клетки, не переставая удивляться тому, что пальцы сжимают пустоту, воздух, ничто. И это ничто билось в его ладонях.

— Ой, какая красивая клетка, папа! В ней птица будет еще красивее!

Игорь стоял рядом, в пальто, в шапке.

— Пожалуй,— согласился Глеб.— Хотя клетки никого не украшают. Может быть, ты ее отпустишь? Жалко держать в неволе.

— Она же замерзнет. Пусть поживет у нас до весны, а потом отпустим.

— Сейчас же иди и разденься,— сказала Лида.— Наглядишься еще на свою птицу.

— А ты завидуешь Игорю,— сказал Глеб, когда сын вышел.— Будет ему теперь от тебя на орехи.

— Ты считаешь меня такой мелочной? Все равно я вашу птицу задушу.

— Уже и нашу...

Они и в самом деле чуть было не рассорились, но зазвонил звонок, и Игорь впустил Женю.

— Ага, вся семья в сборе. Ну и прекрасно. Держи, Игорь, это конопляное семя. Глеб, в твоём доме опять не пахнет кофе. Лида, я страшно голоден, только что из больницы, даже домой не заезжал...

— Ну и шума от тебя, Женька. Что ты за человек.

— Я сейчас что-нибудь приготовлю, ребята,— сказала Лида.— Посидите немного.

— Ну что, надумал?— спросил Женя.— Как Лида отнеслась ко всему этому?

— Как? Пошла готовить гарнир для этой птички.

— М-да... А ты знаешь, я тут кое о чем раздумывал, но пока выводы делать рановато, материала не хватает. Надо бы эту птицу показать как можно большему числу людей. Элементарный тест.

— И к чему это?

— Да я и сам не знаю точно. Кажется, я начинаю понимать, что это за лампочка, может, ты и сам поймешь... В общем, рановато для выводов.

В дверь забарабанили.

— Открой, Игорь! К нам.

В комнату даже не вошел, а скорее вбежал незнакомый мальчик. Худой, зареванный, он уже не плакал, но дрожал всем телом. Вслед ему доносились крики, отборная пьяная ругань раздавалась из-за двери. Гремели кастрюли, на истеричной ноте визжала женщина.

— Папка дерется,— сказал мальчик,— он там маму бьет.

— Пойдем, Витя,— сказал Игорь.— Я тебе птицу покажу.

Он подвел мальчика к клетке, они присели на полу, и Глеб увидел, что мальчик перестал дрожать и сосредоточенно уставился в пустую клетку.

— Вот и еще один зрячий,— тихо сказал Глеб.

— Кто это там так буянит?— спросил Женя.

Глеб пожал плечами.

— У них так каждый день. Никак мир не берет. Из-за этого шума отдохнуть нельзя.

— Да ты хоть выясни, в чем там дело. Смотри, как мальчишку напугали. Может, помощь нужна.

— И без нас разберутся. Еще схлопочешь по шее от таких.

— А ты и напугался. Дай-ка, я сам схожу.

— Перестань ты, Женька, в самом деле. Ничего с ними не случится, успокоятся. Пойдем на кухню, уже кофе готов.

— Э, нет, я все-таки схожу. И знаешь что? Вот как ты думаешь, есть у этих людей лампочка для птицы или нет?

Глеб хмыкнул и промолчал.

— Ну ты подумай, подумай.

— А ты меня с ними не равняй.

— Я не равняю, но все же... Я схожу, а ты подумай, пораскинь мозгами. Если сам не дойдешь, я тебе скажу потом, на ухо.

— Не надо,— сказал Глеб.— Не надо говорить. И так ясно.

Он прислонился к косяку и молча смотрел, как Женя вышел и позвонил в соседнюю дверь. Кажется, он понял, в чем тут дело, но это открытие не принесло ему радости.

СОДЕРЖАНИЕ

К ВОСТОКУ ОТ ПОЛНОЧИ (повесть) 5
И РАСПАХНУТСЯ ДВЕРИ (повесть) 149
ПРИКОСНОВЕНИЕ КРЫЛЬЕВ (рассказ)	. . . 217

Корабельников О. С.

К 66 Прикосновение крыльев : Фантаст. повести.— М.: Мол. гвардия, 1986.— 231 с., ил.— (Б-ка сов. фантастики).

65 коп. 100 000 экз.

К врачу Юрию Оленеву являлся собеседник; он мог быть кем угодно, принимал форму чайника, горлышка колбы, коричневого газа, выходящего из нее, или абстрактной мысли. Звался собеседник Ванюшей... Фантастическая повесть «К востоку от полночи», в которой рассказывается о необычайных приключениях Ванюши, ставит нравственные проблемы в условиях научно-технического прогресса. В книгу вошел также рассказ «Прикосновение крыльев».

К 4702010200—194 **КБ—014—070—86**
078(02)—86

ББК 84Р7—4

ИБ № 4198

Олег Сергеевич Корабельников

ПРИКОСНОВЕНИЕ КРЫЛЬЕВ

Редактор **В. Фалеев**

Художник **В. Овчинников**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Р. Сиголаева**

Корректоры **Н. Мейланд, Л. Четыркина**

Сдано в набор 09.01.86. Подписано в печать 18.06.86. А 08178. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,15. Условн. кр.-отт. 10,5. Уч.-изд. л. 10,6. Тираж 100 000 экз. Цена 65 коп. Изд. № 2516. Заказ 6—17.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42.

65 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

